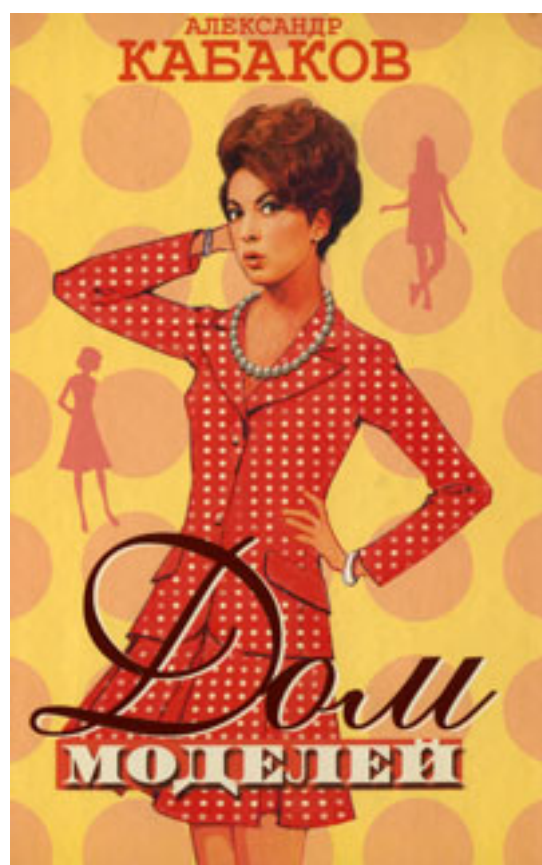




Александр Абрамович Кабаков

Дом моделей (сборник)

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=432682
Александр Кабаков. Дом моделей: АСТ; Москва; 2010
ISBN 978-5-17-066289-0, 978-5-271-27399-5

Аннотация

В книге «Дом моделей» – почти вся литературная биография Александра Кабакова, представленная малой прозой.

Живут ли герои в большом городе или в глубинке – они хотят вырваться из обычной жизни. Красивая девушка убегает в областной центр, чтобы стать моделью; женатый герой заглядывается на другую женщину; влюбленные взлетают с крыши в небо или исчезают в неизвестном направлении...

Все повести, собранные в этой книге, – от нового «Дома моделей» до фантазмагорических «Бульварного романа» и «Салона» – полны иронии и вместе с тем безграничным сочувствием к людям с их сложными судьбами. И, как всегда у Кабакова, реальная жизнь в них тесно смыкается с фантастикой...

Содержание

Дом моделей

Бульварный роман

День из жизни глупца

Кафе «Юность»

Девушка с книгой, юноша с глобусом, звезды, колосья и флаги

Салон

Содержание

Дом моделей	4
Бульварный роман	28
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Александр Кабаков

Дом моделей (Сборник)

Дом моделей

Я был молод, точнее, было мне тогда под тридцать. Однако возраст, вполне по нынешним временам зрелый, подходящий для знаменитого богача или телевизионной звезды, в ту беспечную эпоху вовсе не обременял ни меня, ни таких же, как я, обалдуев, приятелей моих лет, а то и постарше. Мы бездельничали, числясь кто инженером, кто младшим научным, развлекались всякой ерундой вроде кавээна или самодеятельного театра, не прилагая ни к какому занятию ни малейших усилий, предоставив жизни идти по ее собственному, не нами проложенному пути. Были все длинноволосы, хотя многие уже и лысоваты, пили ужасные, прилипающие к глотке портвейны и, напившись, проникновенно пели под гитару. Отношения с женщинами получались запутанными, надрывными – все сложности нормального человеческого существования сосредоточились в бесконечных изменах, разводах и быстрых новых браках. А чем еще заняться, когда всякое занятие одинаково безнадежно... Собственно, именно эта безнадежность и была оправданием беспечности. Конечно, мы не задумывались тогда о таких вещах, но, вероятно, просто чувствовали эти стены вокруг. С любой стороны стена, на расстоянии вытянутой руки. И остается только топтаться на пятачке вместе со всеми – тесно, душно, но тепло и потому вроде бы уютно.

Задним числом горжусь: я, один из очень немногих, попытался если не вырваться из этого загона, то хотя бы протиснуться на более или менее свободное место – уволился из своего НИИ и пристроился внештатным фотокорреспондентом в местную молодежную газету. Снимал я тогда, естественно, непрофессионально, кое-как, но, набрав долгов, купил «Зенит», пару объективов в комиссионке, выписал журнал «Советское фото» и принялся подражать недостижимым прибалтийским и польским образцам. Газете, скупко публиковавшей пачкавшиеся типографской краской темные фотографии молодых передовиков социалистического соревнования, все эти изыски не требовались, но мне дали редакционное удостоверение из уважения к художественным амбициям, я был счастлив и важен. Артистическому образу жизни способствовало то, что я наконец развелся, выбравшись из еженощных скандалов и не нажив алиментов, а потому мог существовать на гонорарные гроши, даже регулярно участвовал в приобретении – после того, как номер подписывался в печать – крепленого белого...

Впрочем, кормили-то меня, взрослого мужика, родители, к которым, разведясь с женой, вернулся в двухкомнатную малогабаритку, полученную отцом от завода. Отец, мучительно долго добиравшийся до тяжелой должности замначальника цеха, смотрел на меня с несколько брезгливым удивлением, мать – с жалостью, но я этого не замечал, не до того было.

Большой южный город, промышленный и научный областной центр, был обжит мною, как бывает обжита запущенная кухня.

На центральном проспекте здоровался через каждый метр, с удовольствием лоя взгляды, цеплявшиеся за вытертый до шершавой рыжины, купленный сильно подержанным кофр.

Дул теплый ветер, дрожали на асфальте тени листьев, неся с горы, исходя звоном, трамвай, и планы не простирались далее наступающего вечера.

То время исчезло, а люди, выплывающие иногда из тогдашних сумерек на нынешний яркий и беспощадный, какой бывает по утрам, свет, сохранили только имена. Имена я помню, а людей узнаю с трудом.

После планерки меня поймал в коридоре ответственный секретарь. Не получив задания, я уже собирался смыться и отправиться на халтуру, снимать новобрачных во дворце бракосочетаний, но Витя Манцевич, отвечавший в газете, в полном соответствии с названием должности, за все, ухватил мое плечо маленькой обезьяньей ручкой. Одиноким, староватый для молодежи, он буквально сутками жил в редакции, пока главный сидел на пленумах и бюро горкома. От Вити всегда порядочно пахло ночлегом без души, отчего редакционные девушки, особенно аристократки из отдела культуры, воротили носы, хотя и жалели бедного сорокалетнего старика. Впрочем, был он не так уж безобиден, на срывающих сдачу материала истошно орал, любил сплетничать, а в отделе комсомольской жизни, где ребята собрались, знающие жизнь вообще, а не только комсомольскую, и потому циничные, поговаривали, что Манцевич химичит с гонорами.

– Старик, погоди, – он прижал меня к стенке, – есть творческое дело, старик. Сделай репортаж из дома моделей, знаешь, на Ворошиловской? Туда художественным руководителем, или как там, в общем, начальником прислали из Москвы, чувствуешь, одного парня... Говорят, гений. Сам наш, местный, но отслужил на флоте, а потом учился в Таллине, ездил, говорят, на какой-то конгресс мод аж в Софию, представляешь, старик? Сделай картинок побольше, ну там же девушки и все такое, манекенщицы, в общем... А я потом кого-нибудь из культуры сгоняю за интервью, дадим полосу на субботу. Современно получится, скажи? Тем более он местный, наш талант, а?

Халтура накрывалась, но отказаться было невозможно, да и не хотелось – что ни говори, интересный материал, глядишь, потом в журнал можно будет что-нибудь отправить. Снимать моду – это уже уровень, серьезная работа...

Особняк на Ворошиловской я знал. В таких желтых и зеленых особняках с осыпавшимися лепными карнизами и большими квадратными балконами, ржавые перила которых извивались железными змеями и цветами, располагалась половина мелких городских учреждений, всякие загсы и архивы. Но бывшее «Ателье индпошива № 1» на Ворошиловской, с полгода назад переименованное в «Областной дом моделей управления легкой и местной промышленности облисполкома», занимало самый красивый из этих купеческих домов. Его балкон поддерживали вполне прилично сохранившиеся кариатиды, а парадная дверь между ними уцелела настоящая, резного темного дуба. Если там еще и внутри осталось что-нибудь такое...

– А я этому, как его, Истомину позвоню, – крикнул мне вслед Манцевич, – чтобы он тебя ждал и подготовился!

Так я впервые услышал эту фамилию.

Примерно полгода спустя, поздним ноябрьским вечером я, изрядно нетрезвый после складчины в редакции, тащился под ледяным дождем по центру. Давно уже пора было утомиться, дожидаться троллейбуса и ехать домой, но не хотелось. И пойти некуда – как назло постоянная моя компания сделала перерыв в пьянках, а подруга Таня, отчаянно любившая меня докторша, у которой в таких случаях оставался до утра, дежурила в своей горбольнице, сидела в приемном покое, принимала ночных неудачников...

Зачем-то я свернул на Ворошиловскую. Делать мне там было совершенно нечего, это днем я мог забежать к Юрке Истомину потрепаться и пощелкать сценки для жанровой серии «Дом моделей», которую собирался отправить, ни мало ни много, в журнал «Советский Союз». Юрка прикрывал дверь в свой микроскопический кабинет, почти полностью занятый оставшимся еще от настоящего хозяина дома письменным столом под рваным зеленым сукном, доставал из тумбы бутылку коньяка – жил небедно... Но сейчас, конечно, никого, кроме сторожа, в особняке не было.

С Истоминим за эти месяцы мы стали добрыми приятелями. Именно приятелями, настоящей дружбы, с полной откровенностью и полной свободой, когда не ощущаешь при-

сутствия чужого человека, не получалось. Я относил это на счет его европейского таллинского прошлого и блестящего настоящего – что ни говори, он был художественным руководителем! Пусть областного, но дома моделей... И в Софию ездил... И журнал «Декоративное искусство» написал о нем – «надежда советской школы моделирования одежды»... И хорош он был, когда выходил на проспект: русые локоны, шарф через плечо, длинный узкий плащ, брюки почти клеш, ботинки цвета красного дерева, уже тогда на платформе! Шел быстро, как бы не замечая взглядов, – привыкший к известности, вниманию толпы большой художник... Так что я воспринимал дистанцию, которую он вдруг давал почувствовать, как совершенно естественную и оправданную. В конце концов, кто я, начинающий провинциальный фотограф, и кто он.

Если же говорить точнее, между нами была не дистанция, а некоторое напряжение. Иногда мне казалось, что он чего-то стесняется, боится сказать лишнее слово, опасается оказаться незащищенным, будто чувствует какую-то постоянную угрозу. Так себя ведут подростки, только они от этого становятся агрессивными, грубыми, а он вдруг делался высокомерным, каким-то официальным, в общем – Юрием Петровичем Истоминым, художественным руководителем. Что не мешало ему через минуту превращаться в Юрку, совершенно своего парня, готового в любой момент налить и выпить рюмку, рассказать рискованный анекдот, поржать... И выглядел он моложе меня, хотя был на три года старше.

Ни о чем таком психологическом я в те времена, конечно, не думал, поскольку, как уже было сказано, вообще мало о чем думал. В сущности, все мы, тогдашние интеллектуалы, курильщики хемингуэевских трубок и слушатели джазовых магнитофонных записей, были почти растениями. Потому и выживали, и с ума не сходили.

Между тем дистанция дистанцией, а на моих глазах разворачивался во всех, как мне казалось, подробностях роман между художником-модельером Юрием Истоминым и Галиной Кононенко, устроившейся в дом моделей два месяца назад уборщицей, а теперь работающей по договору манекенщицей. И роман этот наблюдали, кроме меня, все закройщицы, швеи, все местные высокопоставленные дамы, заказывавшие платья у Истомина и официально, через кассу, и в частном порядке, а также все население города, склонное, естественно, к наблюдениям такого рода. Так что ничего удивительного в том, что герой романа вел себя настороженно и время от времени уходил в глухую оборону от всего мира, не было. Немного задевало меня только то, что к этому враждебному миру он относил, похоже, и меня, но, с другой стороны, кто я ему? Познакомились недавно, виделись не так чтобы очень часто...

А история с Галкой Кононенко вышла удивительная в том смысле, что была очень похожа на какое-нибудь французское или итальянское кино, героиня которого делает карьеру, выбивается из нищеты в богатство.

Она приехала из дальнего райцентра с совершенно определенной целью – стать именно манекенщицей. На обложке «Огонька» увидела фотографию симпатичной девушки, прочтала в журнале про ее жизнь, долго стояла перед облезлым зеркалом – и решила твердо. Лютая ее ненависть к тому месту, где родилась, к пыльным улицам, по которым бродят грязные куры, к тоскливым танцам в клубе под дырявым церковным куполом, к весенней посадке и к осенней копке картошки, к предстоящей после школы работе на ферме – ненависть эта мучила ее лет с пятнадцати. Получив аттестат, твердо сказала онемевшей матери, что уезжает в Москву учиться на манекенщицу, соврала сознательно, чтобы мать смирилась с отъездом в недостижимую даль. Но ехать в Москву не решилась, да и на билет не было, поехала в область, узнав от бывавшей в городе подружки, что и там есть свой дом моделей, устраивают иногда демонстрации мод – следовательно, есть и манекенщицы. Утром вылезла из автобуса, умолила тетку из горсправки и уже через час стояла у дверей дома моделей. Уборщица, на Галкино счастье, уволилась накануне...

Ночевала, как положено, под лестницей, вместе со швабрами. Истомин такими вещами не интересовался, а завхозшу упростила, пообещав, что каждый третий день будет ходить в баню, благо заведение это рядом, на той же Ворошиловской. Швеи и закройщицы, тетки раздражительные и склочные, постепенно привыкли и не шпыняли – уж больно старательно прибирала...

Месяца через два я стал свидетелем ее сказочного возвышения.

В кабинете Юрки мы отмечали мой грандиозный успех: «Советское фото» в разделе работ читателей опубликовало снимок – манекенщица стоит перед зеркалом, закройщица ползает на коленях, подкалывая подол. Ленка Надточий, самая красивая из наших манекенщиц, студентка филфака, снята со спины, лицо ее отражается смутно, но выражение усталости вполне просматривается сквозь зеркальные блики. Назвал я снимок, закидывая удочку на задуманную серию, просто: «Дом моделей». Городские коллеги при встрече поздравляли, особенно напирая на смелость. Старик, ты молоток, с такой работой пробился, девка-то усталая, это ж видно, как там пропустили, талант всегда пробьется, правильно, старик? Я принимал поздравления, дурея от счастья и совершенно не придавая значения тому, что в отделе иллюстраций газеты задания давать почти перестали, а в гонорарной ведомости против моей фамилии торчали какие-то постыдные копейки...

Юрка разлил молдавский, кроме которого он ничего не пил, и мы собрались чокнуться, когда дверь распахнулась, наподдав мне сзади, я расплескал коньяк и едва не слетел с табуретки. Обернувшись, я увидел именно Ленку Надточий, влетевшую к началству прямо в том виде, в котором манекенщицы часами, раскинув руки крестом, стоят во время примерок – в одних трусиках и туфлях на высоченной шпильке. В этом, собственно, и заключается их основная работа: часами выстаивать примерки, почти голыми, чтобы лучше сидело платье, и на каблуках. К наготы при этом все, и сами девушки, и прочий народ в доме моделей, совершенно привыкают и не замечают ее. Мне же, как не совсем, но все же постороннему, бывало не по себе... Но в этот раз я опешил не от вида скромных Ленкиных прелестей, манекенщицам большие не положены, чтобы, опять же, одежда лучше сидела, а от совершенного бешенства, которым Ленка исходила.

– Юрий Петрович, – сквозь рыдания провизжала красавица и грохнула кулаком по столу так, что бутылка подпрыгнула и еле устояла, – либо я, либо эта сука! Она специально, специально... У меня бронхит! Я раздетая! А она форточку... Сука! Либо я...

Тогда девушки – во всяком случае, при мужчинах – еще не матерились, да и голыми в служебных помещениях без нужды не появлялись. Юрка покраснел не то от смущения, не то от начальственного гнева.

– Надточий, ты... это... прекрати немедленно! – он тоже стукнул кулаком по столу, но осторожно, и тут же убрал со столешницы бутылку, поставил ее на пол. – В чем дело? Какая еще... кто она? Ты же... прикрылась бы хотя бы! Человек из газеты...

– Да знаю я! – Ленка пренебрежительно махнула рукой, совершенно не собираясь прикрываться перед человеком из газеты. – Я вам говорю, Юрий Петрович, она меня специально простужает! И булавками колет нарочно! Я заявление подам!..

Тут она совершила ошибку. Даже я, за время сравнительно недолгого знакомства с Истоминим, усвоил, что он совершенно не переносит всякого рода напоминаний о его административных функциях. Однажды на моих глазах изодрал в клочки важную бумагу от исполкомовского начальства только потому, что в ней был назван не художественным руководителем, а директором. Потом вытаскивал из корзины обрывки и складывал, но сначала изодрал... И теперь он взорвался.

– Заявление?! – неожиданно оглушительным, флотским старшинским голосом гаркнул он. – Я тебе покажу заявление! Может, профсоюзное собрание устроим?! Пошла вон отсюда!!

Я посмотрел Ленке в лицо и отвернулся. Если она вцепится ему в волосы, придется оттаскивать, подумал я, а как оттаскивать голую женщину? В те годы все мы были склонны видеть только смешное в любой ситуации.

Но она не вцепилась. Вместо этого, секунду подумав, она изо всех сил пнула носком туфли стоявшую на полу бутылку так, что та взлетела и разбилась об стену, залив все жидкостью цвета мочи. После этого Лена Надточий, первая красавица области, густо плюнула себе под ноги, повернулась и вышла, хлопнув дверью так, что с притолоки зашуршала осыпающаяся во внезапной тишине штукатурка.

И выпить уже нечего, подумал я все в том же ироническом духе.

– Это они с мастером... с закройщицей собачатся, – пояснил мне Юрка, с отвращением косясь на желтые потеки. – Обычная история... Заявление она напишет, засранка...

Тут дверь беззвучно приоткрылась, и Юрка умолк.

Однако ничего страшного не произошло. В щель проникло нечто в старых синих трениках, зеленой вязаной кофте и розовой косынке до глаз, с тряпкой, совком и ведром в руках – словом, уборщица, больше ничего разглядеть в этом существе было нельзя.

– Я приберусь? – спросило существо и, не дожидаясь ответа, начало собирать осколки и стирать коньячные ручьи со стены.

Юрка сдвинулся вместе с креслом, чтобы не мешать. Смотреть больше было некуда, и мы оба смотрели на уборщицу. Я с нетерпением ждал, когда она уйдет, чтобы решить вместе с Юркой, сгонять ли мне за новой бутылкой или вдвоем покинуть учреждение и пойти на проспект в кафе «Южное», чтобы там продолжить неудачно начавшееся торжество. Деньги у меня от последнего новобрачного заработка еще оставались...

Видимо, я упустил на какую-то минуту Юрку из поля зрения. Во всяком случае, его вопрос удивил меня.

– Какой размер, сорок шестой? – спросил он, и было понятно, что это адресовано не мне.

Уборщица выпрямилась и молча кивнула. Только теперь я рассмотрел ее лицо.

– Лет сколько? – продолжал Истомин.

– Семнадцать с половиной, – она сдвинула косынку запястьем мокрой руки, и я подумал, что Ленка Надточий уже точно потеряла работу.

– Зовут как?

– Хала, – ответила она с местным произношением.

Через неделю она сняла угол в частном секторе, в левобережном окраинном районе, и стала ездить на примерки трамваем – час в один конец.

...Не знаю, что меня подталкивало, но под дождем, промокший и окоченевший, я зачем-то дошлепал по Ворошиловской до знакомого особняка. Как и следовало предполагать, все окна в нем были темны, только под резной дверью светилась щель – сторож маялся бессонницей. Какого черта, подумал я, надо ловить машину и ехать домой, спать, простужусь еще...

Но тут я заметил, что за углом на мокрый асфальт падает пятно света. Туда, в неогороженный двор, как раз выходило окно Юркиного кабинета. Вполне может быть, что художник засиделся за эскизами и бутылка молдавского стоит на его столе... Повернув за угол, я отошел подальше и, чтобы убедиться, что свет действительно горит у Юрки, влез на вечно валявшуюся здесь пустую катушку от кабеля.

Соображение, что подглядывать неприлично, мне в голову не пришло. Все мы были бесцеремонны, потому что простодушны, и никакой, даже весьма разнообразный опыт, которым многие из нас располагали, не делал нас взрослыми. Это была страна нашего вечного детства.

Юрка сидел за столом, и бутылка коньяку действительно стояла перед ним. Но никаких эскизов на столе не было, зато я разглядел две рюмки. Сидя к окну спиной, Истомин явно разговаривал с кем-то, кто стоял либо в дверях, либо в углу у самой двери и кого мне не было видно. Впрочем, мне и не требовалось видеть Юркиного собеседника, это мог быть только один человек. Она может не успеть на последний трамвай, подумал я. И как они остаются там при стороже? И о чем говорить европейскому художнику и девчонке «с райцентра»? Вероятно, он объясняет, как правильно ходить по подиуму и вообще что к чему...

В какую-то секунду мне ужасно захотелось постучать в окно. В конце концов, мы не совсем уж чужие люди, подумаешь, страшная тайна... В конце концов, он холост, она совершеннолетняя... Ну, в конце концов, просто посидим вдвоем, выпьем...

Не столько хотелось мне коньяку выпить, сколько проникнуть в эту жизнь, это счастье, эти проблемы, в это тепло и желтый свет за слезящимся окном.

Но я все же опомнился. Не тот Истомин человек, чтобы порадоваться такому гостю. Я слез на землю и, вдруг засуетившись, испугавшись, что меня все-таки застанут за подглядыванием, выскочил на улицу. Словно дожидавшееся меня, выехало из дождя такси с зеленым тусклым огнем. Через двадцать минут я уже беззвучно открывал замок, на цыпочках пробирался в свою комнату, проверял, не промокла ли аппаратура в кофре, и раскладывал по стульям мокрую одежду. Тяжелый хмель от портвейна сменился головной болью, надо было бы согреть чаю, но не хотелось идти на кухню, будить стариков. На улице все лупил дождь. Я покурив в форточку, лег и промучился всю ночь без сна и без мыслей.

Может, мне все же стоило тогда постучать.

Юрка и Галя стали появляться в городе вместе. Чаще всего их можно было увидеть в кафе «Южное», где вообще собирался, начиная с обеденного времени, весь городской бомонд. Заведение это было недорогое, в отличие, например, от ресторана «Люкс», не в последнюю очередь именно поэтому здесь можно было увидеть и музыкантов областной филармонии, и актеров драмтеатра, а не только томящихся бездельем жен городского начальства среднего ранга, из тех, кто не дотягивался до распределителя, но и без того жил неплохо...

Обычно влюбленные приходили часов в пять. Юрка разрешал ей носить казенные платья, что вообще-то не полагалось и не разрешалось ни одной манекенщице. Выглядели они потрясающе, я был уверен, что и в Москве на таких заглядывались бы. Я присоединялся к ним нечасто, пару раз в неделю – мне ежедневные обеды даже в «Южном» были не по деньгам, а позволить Юрке платить за всех я не мог. Мы порядочно выпивали – то есть мы с Юркой, Галка больше глотка выпить не могла и при этом отчаянно морщилась – и трепались ни о чем. Все было прекрасно, я радовался за ребят, жизнь шла привычным образом, будто и не шла.

В газете понемногу забыли и простили мою публикацию в журнале, заработки снова наладились. Однажды Манцевич мельком сказал что-то насчет штатной работы – мол, не исключено, что из отдела иллюстраций одного парня возьмут в областную партийную газету, освободится место, ты первый кандидат...

Он же и завел недели через две после этого обещания серьезный разговор.

Поймал, как обычно, за рукав в коридоре.

– Старик, слушай, ты же там свой человек, в доме моделей этом? – он затащил меня в невыносимо затхлую комнату, усадил, сел сам за стол и принялся рыться в гранках, будто предмет разговора его не интересовал. – Что, действительно этот Истомин талантливый парень? Ты ж у него ту знаменитую фотку сделал, прославился... Что, у него действительно девки потрясающие, а? Сам-то приложился, нет? Или все полагается только худруку? Ты ж вроде с ними гуляешь, с Истоминым этим и малолеткой его, шалавкой деревенской?..

Я не верил своим ушам, вообще не верил, что этот разговор происходит на самом деле. Никто и никогда со мной так не говорил, так, будто я полное говно. Конечно, Манцевич – мужик малопрятный, один запашок чего стоит... Да и о гонорарах слухи тоже не на пустом месте, наверное. Но такого откровенного собирания сплетен, причем сплетен, явно направленных против Юрки, я от этого редакционного домового не ожидал. Зачем ему? Что ему Юрка сделал? Или он... По поручению? Чьему? Кому нужно знать, состоит ли в любовниках недавняя уборщица у начальника такой ничтожной даже по нашим городским меркам конторы, как дом моделей?

– Молчишь? Молчишь... – бессмысленно спросил и так же бессмысленно сам себе ответил Манцевич. – А зря молчишь, старик...

– А что я могу сказать, – я сделал усилие и назвал его по имени, – Витя, если всем и так все известно? Они ходят вместе, не скрываются... В чем дело?

– Не скрываются, – повторил он, – не скрываются... И правильно, чего им скрываться... Ну ладно, иди, тебе, старик, еще на трубный сегодня ехать, там начальника смены для очерка снимать, помнишь?

Я вылетел из пропахшей тлением комнаты, словно там действительно лежал покойник. На трубный, учитывая, как и сколько туда добираться, уже действительно было пора ехать. За пять минут добежав до остановки, я втиснулся, держа кофр над головой, в троллейбус и, пинаемый входящими и выходящими, стал думать о том, что услышал.

Конечно, история с Галкой на пользу Истомину пойти не может. Как-никак, а он один из руководителей областного масштаба, хоть и смешно это, но именно так и есть. При этом беспартийный, с сомнительным, двусмысленным каким-то прибалтийским образованием, холост до тридцати двух – тоже несолидно. И девочка, деревенская, с временной пропиской... Красивая слишком, это точно. Это не просто использование служебного положения, это аморалка в чистом виде.

Хорошо. То есть ничего хорошего, конечно.

Только кому это все интересно?

В таких размышлениях я незаметно доехал до пересадки, погрузился в не менее, чем троллейбус, набитый автобус, проехал еще и в нем полчаса и пошел к проходной трубного пешком через пустырь...

Мелкий злой снег несется змеями по пустырю, бредет, пригибаясь и отворачиваясь от ветра, через пустырь молодой мужчина с тяжелой кожаной сумкой – где это все? Пропало, растаяло. А занятно мы жили! Дети детьми, но как доходило до дела, так вычисляли и прикидывали не хуже членов политбюро. Вот ведь жизнь была... Неужто наша?

И еще прошло какое-то время, не помню уж точно – словом, наступила весна. Сполз грязный снег, подсохли дороги, полетела под ветром первая светлая пыль, и настал срок мне с еще двумя коллегами собираться в экспедицию за деньгами, снимать в деревенских школах парней в красно-синих прыщах и сверхъестественно грудастых девиц для выпускных альбомов. Взяли отгулы, погрузились в голубой «запорожец», принадлежавший одному из нас, старику Наумычу из «Вечерки», и двинулись на тяжелый, но немалый заработок. Третьим ехал известный в городе мастер, Коля Андреев, вообще-то числившийся в центральном фотоателье, что на проспекте, но получавший, как признанный маэстро, все самые завидные заказы: и на портреты актеров драмтеатра и музкомедии для фойе, и на альбомы городских пейзажей от областного издательства. Однако ему всего этого не хватало, Коля вцеплялся в любую халтуру, потому что был ужасно жаден и даже теперь отправлялся на заработки в Наумычевом «горбатом», а не на своей кремовой «Волге» – берег нажитое. Я ехал безусловным подмастерьем, с этим положением смирился и был готов бегать в сельпо за водкой, угождать председательницам родительских комитетов, таскать аппаратуру хромого Наумыча... Впрочем, водку – ну и закуску, конечно, и ночлег – обеспечивали, как правило, заказчики.

Время от времени доставая брюхом землю, повисая над окаменевшей колеей, глотая пыль и сворачивая не на ту дорогу, не замечая сельских красот, то есть уходивших к горизонту пустых, черно-серых кукурузных полей и лесополос на кромке неба, торгуясь с прижимистыми селянами, щелкая по два-три класса плюс здание школы за световой день, стараясь успеть до темноты в следующий пункт маршрута, чтобы там заночевать, а с утра за работу, выпивая перед сном по бутылке ужасной дешевой водки под оранжевую вареную картошку с жирной свининой, укладываясь спать когда на матах в школьном спортзале, а когда просто в сарае на шуршавшем мышами сене – так мы собирали наш весенний урожай. Коля выписывал квитанции на бланках своего ателье, брал авансы, давая в обмен страшные клятвы, что мы не больше, чем через месяц, привезем готовые, с золотым тиснением по выпуклым переплетам, альбомы. Клеить в них фотографии мы должны были все вместе по выходным, тиснение делал за небольшой процент дружок Наумыча в единственной городской переплетной мастерской, а развозить весьма объемную и тяжелую продукцию по клиентам и собирать с них оставшиеся деньги грустно согласился Коля – «Волгу», конечно, было жалко, но соответственно этому немалому трудовому вкладу увеличивалась его доля. Главное было – не перепутать пленки и отпечатки, вклеить правильные фотографии в альбом с правильным номером школы и класса...

В сущности, это был кооператив отличного обслуживания сельских жителей, только еще совершенно противозаконный. И если бы сведения о нашем тяжелом заработке – ну кто-нибудь из заказчиков, например, сигнализировал бы от бессмысленной жадности – дошли до начальства, Наумыч мог и из партии вылететь, а что мы все потеряли бы основную работу, если б просто не сели на год-другой, то тут и сомнений не было. При этом неофициально все прекрасно знали, зачем мы берем отгулы, поскольку и другие городские фотографы занимались тем же, однако, пока не было сигнала, никто репрессий не устраивал. Нравы в нашем южном городе сложились относительно мягкие, стремление к благосостоянию даже партийным начальством не слишком преследовалось, и популярный лозунг тех времен «Хочешь жить – умей вертеться» вполне мог быть написан на въезде в город, там, где красовалось отлитое в бетоне мрачное предсказание «Победа коммунизма неизбежна». С заводов несли все, что помещалось под одежду, а с режимного вертолетного, ходили слухи, ночами вывозили для домашнего хозяйственного использования листы дюрала целыми грузовиками. И на окраинах, в частном секторе, росли симпатичные домики из дефицитного силикатного кирпича, и все больше становилось машин на узких, стекавших от проспекта к реке улицах... До закрытых судебных процессов над городским и областным руководством, с расстрельными приговорами, еще оставалось лет десять.

...К концу недели мы вернулись в город чудовищно грязными, в неодолимом похмелье, смертельно уставшими от переездов и щелканья, но совершенно удовлетворенными – одних авансов набрали полный Колин портфель, а предстоял еще окончательный расчет.

Вечером я с абсолютно определенной целью – встретить кого-нибудь из приятелей, провести время до ночи в приятном застолье, а на ночь отправиться в уют докторши Тани, с которой уже созвонился, – пошел пройтись по проспекту. Возможность никого из знакомых не встретить и, таким образом, не попасть «на гулю» от слова «гулянка», как в наших местах назывались вечеринки, мною даже не рассматривалась. Вечер был пятничный, к тому же дело шло к майским праздникам, что-нибудь да сложится.

Но ничего не складывалось. Проспект был странно пуст, даже на углу Лермонтовской, у кинотеатра «Победа», где обычно собирались городские лабухи на свою биржу, распределяя заказы на музыкальное обслуживание богатых еврейских свадеб и торжественных похорон, почти никого не было. Я недоумевал, пока не сообразил, что пустота объясняется именно пятницей и весной – все мои приятели были мобилизованы семьями на сельхозработы и уехали на свои сотки, где будут два дня напролет стоять над грядками в неприличных

позах, а вечерами на скорую руку опрокидывать по стакану и валиться в благородный, без видений, сон физически уставших людей.

Деваться было решительно некуда, Таня возвращалась с дежурства не раньше восьми и еще час взяла на отдых и приведение себя в порядок. Разве что пойти в «Южное», но эту идею я без колебаний отверг – скорее всего и там не будет никого из своих ребят, а платить за одинокий ужин не хотелось, большой экспедиционный заработок я собирался пустить на совершенно другие, серьезные и важные траты.

Оставался единственный вариант, его я и начал осуществлять: пересек бульвар, зашел в винный, взял две бутылки молдавского, одну, предназначенную для лирического выпивания в компании милого медработника, сунул в кофр, с которым я тогда не расставался ни в какое время, а другую, зажав горлышко между пальцами, как было принято в нашем кругу городских жуиров, гордо понес на виду. Через квартал я свернул на Ворошиловскую и пошел по ней вверх, к особняку, в котором уже порядочно времени не бывал. Застану Юрку – и прекрасно, посидим, выпьем, поговорим... Я давно собирался рассказать Юрке о неприятном интересе, проявленном Манцевичем к жизни дома моделей, да все как-то откладывал. Даже моего невыдающегося в житейских делах ума хватало, чтобы понять – ну, расскажу, а кому от этого будет польза? Юрка ничего менять в своем поведении не станет, в конце концов, даже не потому, что влюблен в Галку без памяти, может, и нет там ничего серьезного, просто красивая ситуация, мэтр и прелестная простушка, а потому, что самолюбив. Значит, все останется как есть... С другой стороны, если Манцевич интересовался не от себя, а по поручению, Юрку обязательно надо предупредить, возможно, кто-то собрался ему серьезно напакостить, надо быть готовым. Но к чему и как готовиться? Непонятно...

Вот сейчас и расскажу, думал я, поднимаясь от проспекта вверх по Ворошиловской, вместе и прикинем. А не застану Истомина – ну, что делать, поеду к Тане, в конце концов, ключ от ее однокомнатного рая у меня есть, подожду ее на кухне в компании с бутылкой, авось, простит ранний приезд.

В особняке было темно, только, как и в тот раз, в щель под парадной дверью пробивался свет. Что мне пришло в голову, не знаю, но вместо того, чтобы, как уже делал в такой же ситуации, обойти дом сбоку и посмотреть, не светится ли окно в Юркином кабинете, я потянул на себя зеленую бронзовую ручку резной двери.

Дверь туго подалась, и я оказался в ярко освещенном высокой люстрой зале-вестибюле. Сбоку от двери стояла тумбочка со старым черным телефоном, а рядом с тумбочкой на стуле сидел, закинув ногу на ногу, сторож и – немного снизу – внимательно глядел мне в лицо. Я никогда прежде не видел этого человека, просто догадался, что это сторож, кому ж еще быть...

Отвечая на взгляд, я несколько секунд рассматривал его, и этого времени хватило, чтобы получить сильное впечатление.

Больше всего сторож был похож на сидящую античную статую, почему-то одетую в партийном стиле давних времен – в застегнутый доверху серый френч и такие же серые брюки, заправленные в высокие, прекрасно начищенные хромовые офицерские сапоги. А над этим телом партсекретаря тридцатых годов мраморно белело лицо, которое и напоминало об античности – ни единой краски, белые щеки и такие же белые губы, глубокие складки, идущие от крыльев носа к подбородку, коротко стриженные белые, абсолютно белые, без блеска, седые кудрявые волосы... Совершенно естественно на таком лице выглядели бы мраморные слепые белые глаза, но тут было единственное отступление от классического канона – глаза на меня смотрели темные, почти черные, и смотрели внимательно.

Ничего себе сторож, экий живописный, подумал я.

– Простите, – начал я, – вот мимо шел...

Мраморное лицо оставалось неподвижно мраморным, черные глаза смотрели внимательно и спокойно.

– Если никого нет, – мой голос в пустом вестибюле звучал слишком громко, – то я в другой раз...

– Проходите, – сторож говорил, почти не разжимая рта, отчего сходство со статуей стало совсем страшным. Голос у него был довольно высокий, но при этом каким-то странным образом глуховатый, – проходите, он у себя.

– Кто он? – глупо спросил я.

– Юра, – односложно ответил сторож и вдруг улыбнулся, то есть раздвинул белые губы и натянул ставшие еще более глубокими носогубные складки, глядя мне прямо в глаза все так же внимательно.

Ничего себе сторож, повторял я про себя, двигаясь в глубь левого крыла особняка по коридору, обшитому исцарапанными, облезлыми панелями красного дерева, ничего себе сторож...

– Ничего себе сторож, – распахнув дверь в Юркин кабинет, с порога, еще не увидев толком, что делается в комнате, начал я, – ты ему Юра, а не Юрий Петрович, сам похож на памятник Сталину, только без усов... Ты где такого взял?

Только выговорив все это, я понял, что передо мной, расплзшись в кресле, сидит сильно пьяный человек. На столе стояли пустая и почти пустая бутылки обязательного молдавского и две, что я заметил не сразу, рюмки. Юрка молча смотрел на меня исподлобья, потом с трудом разлепил губы.

– Танцор... из оперетты... бывший... у них пенсия рано, – слова выползали с трудом, – интеллигентный человек, понял...

– Ему бы каменного гостя изображать, а не в оперетте канкан плясать, – по инерции бодро высказался я и поставил рядом с пустыми принесенную бутылку. – Смотрю, я вовремя, горячее кончается...

Едва не упав с кресла, Юрка наклонился, вынул чистую рюмку, а одну из тех, что стояли на столе – тут я и заметил, что их было две, – сунул в глубь тумбы. Я разлил, мы быстро выпили, и через полминуты Юрка стал вроде бы посвежее. Он даже начал расспрашивать меня об экспедиции по сельским школам, но я, как бывало со мною часто, с идиотской непреклонностью свернул разговор на то, о чем думал перед этим.

– Слушай, Юрка, тут одно дело, – это ж надо было начать такой разговор с пьяным! – одно дело... Манцевич, наш ответсек, старый сплетник, интересовался тобой и Галкой...

В нескольких фразах я передал ему содержание разговора с Манцевичем и свои сообщения по этому поводу. Пока я говорил, Юрка сначала крутился в кресле, устраиваясь поудобнее, будто собираясь спать сидя, а потом и действительно вроде бы задремал. Однако оказалось, что он все слышал, но оценил сообщение как-то странно.

– Галка, – он, не открывая глаз, усмехнулся, – она хорошая, Галка... Все правильно... Говорят?... Пусть говорят... Плевать... Хорошо... Пусть говорят...

«Пусть говорят» назывался популярный в том сезоне музыкальный фильм с невероятно элегантным испанским красавчиком в главной роли, о котором ходили невнятные слухи, что там, у себя в Испании, он известен как абсолютно официальный гомосек – так у нас тогда это называлось, слово «голубой» еще не внедрилось. Я не понял, цитировал ли Юрка название фильма или просто так получилось – судя по тому, что он еще долго повторял эти два слова и усмехался, все глубже погружаясь в сон, все же цитировал. В этом был какой-то смысл, но я не мог понять, какой, а спросить у Юрки было невозможно, он уже крепко спал, положив руки на стол, а голову на руки. Я сдвинул бутылки и рюмки, чтобы он не сбросил их во сне, налил себе и выпил еще коньяку, погасил зачем-то верхний свет, оставив включенной лампу на столе, и вышел.

Сторожа в вестибюле не было. Я толкнул дверь, шагнул на улицу и плотно прикрыл дверь за собою. Мне показалось, что в тот момент, когда она закрылась, в вестибюле слышались шаги... Через десять минут я уже сидел в пустоватом троллейбусе, стараясь не задремать, чтобы не проехать нужную остановку, и думая о том, что свидание с Таней будет не самым удачным, скорее всего, я сразу засну, и главную часть встречи придется перенести на утро. Других мыслей не было, будто сообщив Юрке о неприятном разговоре, я выполнил свой долг и освободился от него.

Боже, каким очаровательно круглым идиотом я был тогда! Боже, верни мне глупость, если не можешь вернуть молодости...

Через месяц, дождавшись расчета за деревенскую страду, я взял отпуск – точнее, будучи внештатником, просто предупредил заведующего отделом иллюстраций Игоря Белякова, что дней десять собираюсь отсутствовать – и уехал в Москву. Цель поездки была грандиозной: на заработанные удачной халтурой деньги купить в одной из знаменитых на всю страну комиссионных, на Новослободской или возле планетария, «Никон» в хорошем состоянии и к нему хотя бы два объектива. Я считал, что мне уже пора переходить на приличную аппаратуру как опытному мастеру. Перед отъездом продал «Зенит» и всю оптику Коле Андрееву – ему эта рухлядь была совершенно не нужна, но, мгновенно выторговав у меня полцены и светясь от удовлетворенной алчности, он утащил приобретение в свою домашнюю сокровищницу – «пусть лежит, есть не просит». Полученные от Коли деньги вместе с гонорарами от сельских чадолюбцев образовали порядочную сумму, которой, по моим прогнозам и по мнению того же Коли, должно было хватить и на «Никон», и на объективы, и на пребывание в столице, включая плату за гостиницу и умеренные развлечения.

Поезд, раскачавшись на выходных стрелках, прогрохотал по мосту и устремился в быстро наливавшуюся фиолетовыми сумерками степь. Бессмысленно глядя в окно, я думал о предстоящих московских делах, мысли сбивались и путались, я дремал после выпитого на вокзале пива, снова пьялился в темноту...

На Новослободской у магазина толпился народ, ушлые ребята негромко предлагали купить совершенно новые камеры, от недорогих «Практик» до заоблачных «Хассельбладов», соблазнившиеся уходили с продавцами в соседние дворы, остальные продолжали толкаться, прислушиваться и присматриваться. Возле метро прохаживался милиционер, время от времени он пересекал дорогу и приближался к толкучке, тогда она мгновенно рассеивалась, чтобы собраться через несколько минут. В магазине было тесно, какие-то пожилые, дорого одетые дядьки рассматривали электробритвы «Филипс» и «Браун» в витринах, весьма затрапезного вида фотографические фанатики пытались разглядеть камеры и объективы, лежавшие на полках позади продавцов. Как здесь можно было что-нибудь выбрать, я не понимал и понемногу начинал отчаиваться в своем предприятии... Наконец я решительно пробился к прилавку с намерением просто спросить у самого на вид доброжелательного продавца, есть ли что-нибудь по моим деньгам, но в этот момент мне на плечо легла чья-то рука. Я дернулся, поскольку, имея во внутреннем нагрудном кармане пиджака заколотые английской булавкой немалые деньги, очень опасался воров, и резко обернулся.

Человек, которого я увидел, в нашей провинции выглядел бы городским сумасшедшим, но здесь, в Москве, на него никто не обращал внимания, толпа с полным безразличием толкала и крутила его. Это был малый примерно моих, на вид, лет. Черная широкополая шляпа, какую в те годы можно было добыть только в театральной костюмерной, темно-красная, в турецкий узор, косынка под воротом низко расстегнутой рубахи и бежевая куртка тончайшей замши с ковбойской бахромой по швам – все это на нем выглядело так, будто он и не подозревает, что можно одеваться по-другому. Его довольно красивое актерское лицо очень украшала легкая, любезная полуулыбка и не портили поднятые «домиком», как у грустного клоуна, слишком густые брови... Словом, персонаж был маскарадный.

– Вы, как я понимаю, фотохудожник, – у него был какой-то незнакомый мне выговор, не наш южный, но и не московский, без аканья и проглатывания окончаний, – причем приезжий. Откуда, если не секрет?

Я назвал наш город.

– Бывал, прелестное место, – задумчиво произнес он, отчетливо прозвучало «прэ-элестное», и я тут же про себя окончательно определил его в «белогвардейцы». – М-да... Так позволите быть вам полезным? Мастера светотени должны помогать друг другу, буду рад...

Меньше чем через час мы выбрались из толчеи. Я испытывал легкое опьянение от счастья – была куплена великолепная камера и два шикарных объектива, отдал я за них раза в полтора меньше, чем предполагал заплатить. Продавец с моим новым приятелем Валерием – он так мне и представился, полным именем – обращался как с хорошим знакомым, но почтительно. В толпе многие с ним здоровались, он в ответ приподнимал шляпу совершенно естественным жестом, будто в наши дни такая манера приветствия вполне обычна. Словом, мне повезло, я без каких-либо усилий с моей стороны не только купил аппаратуру, но и познакомился с явно незаурядным человеком.

...Тогда я еще не знал, что такое одиночество. Потом, годы спустя, мы иногда виделись, большей частью случайно, и всякий раз вспоминали, как перепуганному провинциалу посочувствовал томящийся беспричинной тоской мэтр. «Вечно ваш должник, ваше сиятельство, – всегда шутовски кланялся я, – облагодетельствовали дурака...» Посмеявшись, мы обнимались и опять расходились надолго. Говорить было не о чем, общего ничего, кроме воспоминания о встрече и необъяснимой взаимной симпатии...

В метро он протянул мне маленький прямоугольник визитной карточки. Визитная карточка была предметом моих мечтаний – в редакции у сотрудников были, но внештатникам не полагалось... На картоне изысканным курсивом было написано «Валерий Аркадьевич Перевозчиков, фотограф», а ниже стояли два телефонных номера, причем рядом с одним значилось «Москва», а с другим – я не поверил своим глазам! – «Санкт-Петербург». Уже того, что человек имеет два места жительства и, соответственно, два телефонных номера, было достаточно для изумления. Но написать на карточке «Санкт-Петербург» вместо «Ленинград» было вызовом, непостижимым для меня, воспитанного в захолустном законопослушании. Я вздрогнул, прочитав это название, как всякий раз, слушая ночью радиоголоса, вздрагивал от обращения «господа». Белогвардеец, точно белогвардеец!

То, что фамилия Перевозчикова была мне хорошо знакома по «Советскому фото», почти в каждом номере которого публиковались его черно-белые, без теней и оттенков, городские пейзажи, произвело на меня гораздо меньшее впечатление.

Сначала поехали в мою гостиницу – я намеревался вместе с новым знакомым обмыть покупки и потому решил завезти их и оставить в номере. Мало ли чем кончится вечер... Жил я, ни мало ни много, в недавно построенной «России», что поразило даже Валерия, хотя объяснение этому шику имелось простое: московская тетка моей бывшей жены работала в этом дворце суперсовременного комфорта каким-то небольшим начальником и помогла получить одноместный номер, не держа зла на недавнего родственника. Баба она была своя, приехав на нашу свадьбу, сильно напилась еще до начала застолья, мы с нею каким-то странным образом подружились, несмотря на то что мои мать и отец ее упоминали со сдержанной насмешкой, а ее работу – с многозначительной недоговоренностью.

Мы с Валерием долго кружили по бесконечному коридору, пока я нашел свой номер. Там я засунул покупки в полупустой кофр, под запасную рубашку, а кофр мы решили на всякий случай отнести в камеру хранения. Обмывать удачу начали прямо в скромном великолепии одноместного номера – я открыл прихваченную с собой на всякий случай бутылку нашего фирменного городского напитка, тридцатиградусной настойки «Медовая крепкая». После того как выпили по полстакана, я решился – вынул журнал с моей гордостью, фото-

графией злосчастной Ленки Надточий и закройщицы у ее ног, возможно, той самой, которая хотела простудить красавицу. Молча я положил журнал перед Валерием.

Он поглядел на фотографию невнимательно, потом поднес к самым глазам, хотя ничего дополнительного в полиграфическом отпечатке рассмотреть было невозможно, потом отложил журнал и пожал мне руку.

– Отличная работа, коллега, – сказал он, и это его старорежимное обращение вместо обычного «старик», как и то, что ему в голову, видимо, не приходило перейти со мной на «ты», уже меня не удивило. – Чувствуется, что место вам хорошо знакомо и отношения между дамами понятны...

Как выяснилось, он моду и жизнь, идущую вокруг моды, не снимал никогда, в домах моделей ни разу в жизни не бывал. Я тут же принялся рассказывать ему историю падения Ленки Надточий и возвышения Галки, красочно описал скандальное явление Ленки в натуральном виде и ее вопли. Валерий усмехался, качал головой, а когда я завершил рассказ, сделал вывод, к которому я и сам склонялся, но боялся реализовать замысел.

– Вот это и надо снимать, мой друг, – сказал он твердо и уверенно, – вот этих девочек, готовых к производственному выяснению отношений в чем мать родила, безразличных к своему телу. Если это их безразличие поймать... Чешскую «Фотографию» просматриваете? Они серию таких актов наверняка взяли бы.

В те времена фотографы вместо «ню» говорили «акт», импортные снимки рассматривали робко и с некоторой неловкостью, а на съемки обнаженной натуры не решался почти никто... Удивительная была жизнь! Ведь, и правда, стеснялись – а при этом в отнюдь не супружеских постелях многие вытворяли такое, что и словами описать по сей день невозможно... Однако сфотографировать голой хотя бы вполне готовую к чему угодно мою докторшу Таню я не решался. И не только вроде бы стыдно было, но и страшновато, будто сквозь мой объектив мог заглянуть кто-то третий, начальственный и строгий.

Обсуждая возможности съемок совсем иной, чем я давно задумал, серии «Дом моделей» и перспективы отправки ее на суд чехословацких товарищей, мы дошли от «России» до другой московской новинки современной архитектуры – до проспекта Калинина. Здесь в одном из небоскребов открылось кафе «Печора», по доходившим и до наших мест слухам в нем играли великий Козлов и другие наши джазовые гении, и атмосфера, по слухам же, была совершенно потрясающая...

Там и завершился вечер. Мы долго прощались с Валерием где-то возле метро, потом я долго брел до гостиницы, на Красной площади постоял под прохладным ветром, но не помогло, и номер нашел чудом. В чистые простыни рухнул, не раздевшись.

Наутро с ужасом обнаружил отсутствие кофра, потом выплыло, как мы сдавали его в камеру хранения. Весь еще в холодном поту я побрел на поиски буфета. Там подавали – ничего себе! – чешское пиво... Да, Москва и есть Москва. Я сел за столик, вылил всю бутылочку в высокий стакан, проглотил сразу половину.

За огромным окном сверкал Василий Блаженный, плыли пухлые облака, наливалось ярким светом начало теплого осеннего дня.

Я бы не вспомнил эту поездку, если бы идея снимать манекенщиц полуголыми не имела отвратительных последствий, которые и теперь, через сорок без малого лет, вспоминаю часто.

А тогда, в гостиничном буфете, жизнь плыла легко, как облако, и так же, как облако, неумовимо меняла очертания, но я не замечал этого и пил пиво.

Съемка пошла легче, чем я предполагал.

Девочки почти сразу перестали обращать на меня внимание, как на часть производственной обстановки, сделавшуюся неизбежной. Раскинув руки крестом, они часами стояли на подиуме, работая именно манекенщицами, то есть живыми манекенами, на которых при-

меряли и подгоняли одежду закройщицы, – демонстрационный зал в обычное время был не только хранилищем готовых платьев и пальто, «отшитых», как на профессиональном жаргоне назывались сшитые вещи, но и примерочной. Подиум, кое-как сколоченный дощатый помост, крытый толстым серым сукном, – на жаргоне «язык» – тянулся от низкой двери в одной стене почти до противоположной, упираясь в пустоту, и этим действительно напоминал язык. Зал некогда был большой гостиной, с лепным плафоном и купидонами на потолке, а за низкой дверью была малая гостиная, в которой манекенщицы во время показов переодевались, толкаясь, а в будние дни там хранились под пломбами и замками ткани и прочие безусловные ценности.

Юрка тоже не возражал, вообще выслушал меня не особенно внимательно, буркнул, что, кажется, с этим Перевозчиковым в Москве пересекался, и тут же отвлекся – сам кинулся подкалывать и сметывать очередной шедевр.

Более напряженно, чем другие, воспринимала меня Галка – ежилась и прикрывалась. Возможно, потому, что ситуацию осложняли приятельские отношения, а приятелю позировать голой труднее, чем постороннему человеку. Да я и сам чувствовал себя не совсем ловко – не то чтобы стеснялся, а боялся, что ли, ощущая свое занятие как предосудительное. Советский страх наготы сидел глубоко...

Я ползал у ног переминавшейся с каблука на каблук очередной страдальцы, залезал едва ли не на люстру в поисках верхней точки, манекенщица, кажется, начинала стоя дремать, мастерица-закройщица подкалывала и намечивала, не обращая на меня внимания, этих теток вообще ничего, кроме сдельщины и ежечасного чая с сушками, не интересовало. А я щелкал бесконечно, сотни кадров, до одури...

Готовые отпечатки на большеформатном картоне, будто приготовленные к выставке, которой никогда не будет, я хранил у моей докторши Тани, девушки малообщительной, так что держать там работы было безопасно – дома у нее никто, кроме меня и, очень редко, моих ближайших друзей не бывал, а друзей у меня каким-то странным образом за последние месяцы осталось очень мало. Все те же Юра с Галкой могли зайти да еще старик Наумыч, с которым мы после поездки по сельским школам незаметно сблизились и даже подружились, несмотря на разницу лет в пятнадцать, – а больше, пожалуй, никто. Наумыч внимательно рассматривал расставленные по полу вдоль стен работы, присаживаясь перед каждой на корточки, потом наливал себе первую рюмку и вздыхал: «У вас, молодых, еще есть силы и желание заниматься искусством...» Что касается Юрки и Галки, то они на фотографии смотрели довольно равнодушно, хотя всякий раз Юрка замечал новые работы, поднимал с пола и разглядывал, отодвинув от глаз на длину руки. В конце концов я не выдержал и буркнул: «Сказал бы хоть что-нибудь...» Он посмотрел на меня с изумлением, потом пожал плечами: «Ты зрелый художник, зачем тебе мои комплименты? Одно могу сказать – по-моему, профессионалы должны это оценить...» От «зрелого художника» я взлетел на седьмое небо, хотя постарался виду не показывать. В тот вечер мы хорошо посидели, Таня нажарила маринованной свинины, которую готовила изумительно, две бутылки коньяку опорожнились незаметно, и ребята пошли ловить машину во втором часу. Перед уходом Галка долго рассматривала те фотографии, на которых были они с Юркой: она стоит, как обычно, крестом, а он то ползает перед ней на коленях, то рассматривает, отодвинувшись, то сличает почти законченное платье с эскизом, который держит, по своей привычке, отодвинув на длину вытянутой руки... «Ты же не будешь это выставить? – спросила она тихо, уже натягивая сапоги в прихожей. – Не будешь?» Я только усмехнулся – где я могу это выставить, в зале областного отделения Союза художников? Меня на порог не пустят. «Не волнуйся, Галка, – я похлопал ее по узкой спине, – при нашей жизни таких выставок не будет...»

Между тем, спрятав у Тани отпечатки, я, как последний идиот – каковым, уже сказано, и был, – негативы постоянно таскал с собой, баночки с отснятыми рулонами отличной гэд-

ээровской пленки, которую я использовал только для настоящих, художественных съемок, катались на дне кофра. Неэкспонированные рулоны советской пленки, завернутые в фольгу, я носил в карманах...

Чей-то день рождения отмечали в большой комнате секретариата, где всегда устраивали пьянки. Выпивка быстро заканчивалась, тогда в очередь бегали на улицу и, по позднему времени, брали водку у таксистов. Пришел черед бежать и мне, я отсутствовал с полчаса – таксисты попадались какие-то слишком жадные, запрашивали дикие деньги, наконец я сторговал две бутылки за червонец и вернулся с раздувающейся грудью пиджака, во внутренних карманах которого все было спрятано, чтобы вахтерша хотя бы формально не имела повода придрататься и могла сделать вид, что редакция горит на творческой ночной работе.

Комната уже опустела – то ли народ притомился, то ли, не дождавшись меня, поехал продолжать к кому-нибудь домой. На столах, покрытых старыми полосами с размазанными оттисками, стояли пустые бутылки от белого крепкого и банки от домашних огурчиков, в мутном рассоле уже плавали только деревца укропа, а в щербатых тарелках вперемешку с огрызками хлеба и колбасы громоздились мятые окурки... Посреди комнаты, лицом к двери, верхом на стуле сидел Манцевич и курил. Он, видно, и на этот раз собирался ночевать в редакции и потому никуда не спешил.

– За смертью тебя посылать, – сказал ответсек, – мало тебя Беляков дрючит, неоперативный ты, старик... Ну давай, что ли, по последней?

Мы – каждый себе, как было заведено суровыми редакционными обычаями, – налили и выпили. Я продышался после стакана и тем ограничился, поскольку закуски, на мой взгляд, уже не было, а Манцевич, едва не вызвав у меня рвоту, вырыл из-под пепла кусок колбасы и спокойно прожевал. Пить с ним еще мне совсем не хотелось, я взял стоявший в углу кофр, бросил на плечо ремень и издали кивнул – пока, мол. Однако Витя спешился, слегка оттолкнув стул, будто это был действительно конь, и, подойдя ко мне почти вплотную, неожиданно ловко поймал мою руку и сильно потряс, будто прощаясь с близким другом.

– До завтра, старик, – сказал он неожиданно проникновенно, – будь здоров и бодр, понял? Главное в нашем деле бодрость, понял? За бодрость и читатель спасибо скажет, и начальство, а за уныние и всякий пессимизм можно только по жопе награду получить...

Изумленный такой неожиданно философской речью, я еще раз молча кивнул, осторожно вытянул ладонь из его ручки и уже через пять минут ровным быстрым шагом двинулся к дому – идти предстояло около часа, а на такси или левака не было уже денег.

Прекрасно помню этот день, из тех очаровательных дней конца лета, когда небо в наших жарких краях становится прохладным и таким светлым, что мир начинает сверкать, будто начищенный к празднику.

Я спешил на понедельничную большую планерку, ворвался в редакцию на исходе последней минуты и летел по коридору, надеясь успеть к рассаживанию в кабинете главного – как вдруг он сам, собственной невысокой и плотной персоной бывшего средневеса, чемпиона области по штанге, появился из-за какого-то поворота. Я с трудом затормозил и оказался лицом к лицу с Владимиром Ивановичем Кашинским, главным редактором нашей газеты, органа областного комитета ВЛКСМ.

Он был неплохой мужик, Володя Кашинский, незлой, не склонный к хамству, в отличие от, например, легендарно грубого редактора областной партийной газеты, вообще – не вредный. В редакции бывал, как положено любому нормальному главному, нечасто, в основном обитал на областных пленумах и бюро, выступал на каких-то совещаниях актива, увидеть его можно было только на утренних планерках, где он от меня, внештатника, сидел далеко, за своей перекладной Т-образного стола. Был такой порядок: за перекладной, то есть за своим рабочим столом, садился главный, вдоль стола по обе стороны – члены редколлегии и

завотделами, на стульях вдоль стен – все прочие, внештатники же у дверей кабинета переминались стоя и уходили по мере получения заданий...

– Опаздываешь? – спросил главный доброжелательно, опустив имя, которое, очевидно, не помнил. – А ты мне как раз нужен... Дело-то невиданного яйца не стоит, но сильные мира всего тобой интересуются, понял? После планерки зайди к Манцевичу, он объяснит...

Володя был в своем репертуаре: он обожал пословицы, поговорки и просто идиомы, при этом их чудовищно перевирал, достигая совершенно не задуманного комического эффекта. Нынешние два шедевра подряд были еще не самыми убойными, «невиданное яйцо» вместо «выеденного» и «сильные мира всего» вместо «мира сего» почти не произвели на меня впечатления – вот когда он орал «сотру в бараний порошок!» на засадившего сразу две ошибки заводделом рабочей молодежи, вся редколлегия зажимала рты и дергалась в конвульсиях, уж больно ловко он объединил «сотру в порошок» и «согну в бараний рог» да еще повторил эту дикую чушь раз десять...

Мы вошли на редколлегию вместе, при этом Манцевич посмотрел на нас через весь кабинет внимательно и, как мне показалось, испуганно, да еще почему-то особо мне кивнул. Некоторое время я размышлял о том, что случилось, какое начальство могло заинтересоваться моей незначительной внештатной особой, но потом отвлекся, поскольку речь зашла о серии фоторепортажей с комсомольско-молодежных строек области и нужно было во всеоружии встретить распределение между фотокорреспондентами адресов, чтобы не загреть в самый дальний, отрезанный от железной дороги и непроезжий район. Я даже на некоторое время забыл о коротком разговоре с главным, но Манцевич мне сам напомнил. Цепко, по обыкновению, ухватив за рукав, он потащил меня в свою комнату, усадил, сел за стол напротив и заговорил, глядя мне в глаза со все тем же внимательно-испуганным выражением.

– Тут такое дело, старик... Ты, значит, сейчас дуй в облисполком, в комнату, – он глянул в настольный календарь, на котором вкривь и вкось были записаны номера телефонов и закорючки фамилий, – в комнату двести пять, понял, там Тамара Алексеевна Пинчук сидит, в приемной назовешься, тебя ждут, понял...

– Не понял, – невежливо перебил я, – какого хрена я забыл в исполкоме? Кто эта Тамара? Ее что, щелкнуть надо? Для интервью, портретик, что ли? Или что?

– Ты сходи, старик, куда сказано, – Манцевич отвечал мирно и как-то удивительно терпеливо, как больному, – а там тебе объяснят, что требуется, портретик или что. Запомнил? Комната двести пять, Тамара Алексеевна.

...За дверью с номером двести пять и табличкой «Т.А. Пинчук» без указания должности обнаружилась маленькая приемная, в которой среди горшков и даже кадок с цветами, словно в оранжерее, обитала пожилая тощая секретарша с удивительно длинным и мощным, как вороний клюв, носом. Она вообще была похожа на ворону и даже смотрела боком, искоса. Спросивши мою фамилию и изучив удостоверение, она ушла в обитую клеенкой дверь, за которой, очевидно, был кабинет самой Тамары Алексеевны, и, вернувшись через секунду, нескладным, тоже каким-то птичьим жестом пригласила в кабинет меня.

Начальница птицеобразной секретарши, напротив, была самой что ни есть обычной, часто встречающейся в нашем южном городе наружности. Фигура ее была составлена из шаров разного размера, причем в сочетании они представляли собой именно женскую фигуру, пожалуй, даже привлекательную, с хорошо обозначенной талией и прочими деталями – словом, все формы были очевидны, это в более северных краях страны такая комплекция сочетается с полной бесформенностью. Над телом возвышалась соответствующая голова: высокая башня крашенных в цвет темной меди волос и правильное, разве что немного утконосое лицо, которое можно было бы назвать даже красивым, если бы вокруг собственно лица не колыхалось еще много дополнительной плоти, будто дама выглядывала

из подушки. Такую внешность имели многие наши партийные начальницы, а также продавщицы, школьные учительницы и вообще все обладавшие властью женщины. В их прошлом, как правило, была бурная комсомольская молодость с веселыми слетами актива, а в настоящем нередко не было мужа, если же был, то положение в обществе занимал какое-нибудь двусмысленное, вроде бы и значительное, но экзотическое – например, директор кинотеатра или тренер городской сборной по волейболу...

Тамара Алексеевна кивнула мне, не подняв глаз от бумаг на столе, и молча ткнула рукой в сторону стула, который почему-то стоял почти посреди комнаты, а не перед столом, как обычно бывает в кабинетах, где к большому письменному со стороны посетителей приставлен маленький столик и по обе стороны от него – два стула. Сев и поставив кофр рядом на пол, я почувствовал себя на допросе, что, видимо, и требовалось.

– Ну не будем тянуть кота за хвост, э-э-э, – Тамара Алексеевна неожиданно улыбнулась, открыв, как и следовало предполагать, много золота во рту, опять заглянула в бумаги на столе и назвала меня по имени-отчеству, – давайте сразу о деле. У вас другие фотографии есть?

– Какие другие? – я настолько растерялся, что все, происходившее в кабинете после этих слов, запомнил плохо, приблизительно, без деталей. – Какие другие? То есть, кроме каких?

– Кроме вот этих, вот этих самых, вот этих... – как-то невнятно бормоча, толстая тетка собрала со стола листы, которые рассматривала, когда я вошел, сложила их пачкой и вдруг, совершенно уж неожиданно, почти выбежала из-за стола, оказалась вплотную ко мне, так что я даже откинулся и закачался на задних ножках стула, и потрясла пачкой перед моим носом. – Вот этих, молодой человек!

И я увидел, что это листы контролек, мелких контрольных отпечатков, и мелькнуло что-то, какой-то кадр, по которому я сразу распознал свою серию «Дом моделей» и понял, что в этой пачке все – полуголые девочки, хмурая Галка, Юрка, ползающий на коленях по подиуму, вся эта совершенно не подходящая для разглядывания в исполкомовском кабинете жизнь.

Тамара Алексеевна Пинчук, начальница, как я догадался, того самого управления легкой и местной промышленности облисполкома, которому подчинялся Юрка с его домом моделей, между тем требовала от меня каких-то других кадров, «вы сами отлично понимаете каких, нас эта похабщина не интересует, но вы сами отлично знаете, что там еще Истомин развел, вот оно нас и интересует, потому что это не моральный облик, а преступление, вы сами понимаете...». Почему-то, настаивая на сотрудничестве в каком-нибудь пакостном деле, начальники всегда упирали на то, что мы сами все понимаем. В этом, видимо, проявлялось их искреннее и глубокое убеждение в том, что все вокруг такая же дрянь, как они, только карьеру сделать не смогли...

Как же снимки попали сюда, слегка очумевший от ее напора, сбивчиво думал я, молча качая головой и пожимая плечами в ответ на «сами должны понимать» и перебирая листы контролек, которые она сунула мне в руки, прежде чем вернуться за стол и снова усестись там всеми своими шарами. Как же снимки попали, кто сделал контрольки... Вероятно, не будь я так ошарашен, я сообразил бы быстро, в этих же обстоятельствах мои умственные способности парализовало. Наконец, я наклонился, сунул руку в кофр, порылся в нем, но долго рыться не было смысла – сразу стало понятно, что пленок там нет. Сколько же их было? Десятка полтора... Да вот, собственно, все они, на контролях... Но как же... Кто мог... Это все против Юрки, конечно, но кто мог...

Только полным очумением можно объяснить, что в первую минуту я подумал о Тане. Но даже под визгливые требования начальницы немедленно все понять самому я быстро отогнал эту мысль. Не могла Танька, да и ни к чему ей все это...

– Никаких других снимков, кроме этих, у меня нет, – наконец разжал я дрожавшие, надо признаться, губы. – Это серия, которую я готовлю для журнала «Советское фото»... – сообразил соврать, упоминание чешской «Фотографии» могло совсем разъярить даму. – Да и то негативы пропали. Вам, наверное, известно, кто...

– Все нам известно! – она хлопнула по столу пухлой ладонью с непропорционально тоненьким, врезавшимся в палец колючком. – Еще в советском фоте... фото... еще в Москве собирались область опозорить! Кто вам позволит?! Вы спасибо скажите, что мы... что пожалели вас... Короче, есть еще фотографии?

Я встал, взял кофр, минуту потоптался, потом бросил листы контролек на ее стол, так что один лист спланировал на пол. Не то чтобы я наконец осмелел, просто силы как-то кончились.

– До свидания, Тамара Алексеевна, – я уже был у двери, и чем дальше от меня отодвигался ее стол, тем спокойнее я становился. – Надеюсь, мне вернут негативы. Я планирую выставку, и мне очень нужны эти работы. Это будет выставка ху-до-жест-вен-ной, – по словам произнес я, – фотографии, некоторые известные мастера в Москве уже ознакомились и одобрили. До свидания.

В исполкомовском коридоре я едва не налетел на странную женщину, быстро шедшую мне навстречу. Это был никак не исполкомовский персонаж – средних лет безукоризненная красавица, одетая с нездешней элегантностью. Темные коротко стриженные волосы лежали модным гладким шлемом с длинной челкой, темно-серый костюм из тонкого джерси сидел потрясающе и был очевидно фирменного происхождения, матово сверкали лакированные туфельки самого модного фасона – на толстом каблуке и с детской перепоночкой... Черт возьми, подумал я, что делает здесь такой кадр, откуда она вообще взялась в нашей глухомани? Но, пробормотав извинения – женщина посмотрела мне в лицо не без интереса – и уступив дорогу, я тут же и забыл о странном явлении, не до этого мне было.

Я бесконечно прокручивал в уме и пытался анализировать то, что произошло. В таких серьезных случаях мне помогала интуиция – точнее, инстинкт труса всегда выручал. Уже выйдя из исполкома и спускаясь по проспекту, я понял, что возникшее на основе знакомства с Перевозчиковым вранье относительно «московских мастеров» было очень кстати. Ссылка на высшие столичные силы в нашей робкой глуши срабатывала. Негативы могли вернуть, чем черт не шутит... Во всяком случае, я ничем в моем положении дополнительно не рисковал – из газеты-то строптивного внештатника обязательно попрут, остановить их могут только, опять же, опасения относительно московских связей наглеца. Ведь на чем-то же основана наглость...

Только на подходе к редакции меня начало по-настоящему трясти.

Не было никаких сомнений в том, что заработка я лишился, и никакие туманные намеки на столичные связи не помогут. В Союз журналистов, членство в котором позволяло внештатничать, не считаясь тунеядцем, меня должны были принять только месяца через два, а уж теперь не примут никогда. Милиция, которую редакционные доброжелатели обязательно известят о прекращении моей работы по договору, займется бездельником, предложит немедленно трудоустроиться. В лучшем случае найду в какой-нибудь ничтожной конторе завидную должность младшего конструктора на девяносто рублей, в худшем – грузчиком в магазин, в веселую компанию ханыг. Жизнь кончится...

Никакие радикальные решения вроде отъезда в дальние края по вербовке или бегства в Москву с целью ее покорения в мою и в обычное-то время не очень буйную голову не приходили. Романтика дальних дорог существовала в кино, где не было прописки, отдела кадров, проверки по линии допуска к секретным документам и прочих реальных вещей. А допуск у меня был, и срок его еще не кончился после увольнения из НИИ, так что и последняя возможность – объявить себя скрытым евреем, найти через десятые руки, через толпившихся

у синагоги активистов возвращения на историческую родину, фиктивных родственников в Израиле и навсегда покинуть лагерь мира и социализма – эта возможность решения всех проблем для меня была закрыта. И самому было страшно, и стариков было жалко, родителям полагалось писать согласие на отъезд детей, если бы отец подписал такую бумагу, жизнь его превратилась бы в ад, погнали бы из партии и с работы за пять лет до пенсии, если бы не подписал – меня бы не выпустили, а его все равно съели бы за плохое воспитание сына... В нашей области каждое второе предприятие и учреждение были так называемыми режимными, секретными, поэтому в те времена уезжали из едва ли не наполовину еврейского города немногие.

В том, что существовавшее положение вещей останется вечным, не сомневался никто.

Словом, хода не было, со всех сторон сумрачные тупики, и, поднимаясь по лестнице так называемого Дома печати, на третьем этаже которого помещалась наша молодежка, я довольно серьезно размышлял о возможности достать через Таню несколько упаковок какого-нибудь сильного снотворного. Только надо обдумать, как выгородить бедную докторшу. То есть сходить пару раз на прием, зафиксировать в карте жалобы на бессонницу, получить рецепт, а уж потом никто не обязан и не может следить, в каком количестве я принимаю лекарство. И вообще лучше пойти на прием не к ней, а к обычному незнакомому невропатологу... Поехать в Комсомольский парк на том берегу, там в какой-нибудь глухой аллее все и употребить, запив для верности бутылкой водки – чтобы все было ясно и никого потом не таскали...

Сама логичность и продуманность моего плана доказывали, что я был не в себе.

Поднявшись в редакцию, я сразу свернул в закуток, выгороженный из коридора и огороженный с одной стороны фанерной стенкой не до потолка, а с другой – навсегда запертой дверью на вторую лестницу. Пожарные закрывали на это безобразие глаза... Здесь стояли несколько колченогих маленьких столов, не закрепленных ни за кем из фотокорреспондентов, а используемых всеми по мере надобности. На один из них я вывалил все содержимое кофра, чтобы наверняка убедиться, что пленок в нем нет.

Пленок, конечно, не было.

В ту же минуту оглушительно зазвенел внутренний телефон, и я снял трубку. Ольгу Васильевну, секретаршу главного, самую старую работницу редакции, которую почти все у нас заглазно, а многие и в глаза называли тетей Олей, нельзя было спутать ни с кем.

– Допрыгался? – спросила она грустно и сама подтвердила: – Допрыгался... Ну иди, дурень, к Владимиру Ивановичу да задницу приготовить...

Тетя Оля говорила в грубоватом, как бы дружеском стиле комсомольской богини тех послевоенных времен, из которых она и спланировала в приемную главреда.

Володя был хмур, однако по товарищеской манере демократичного руководителя вышел из-за стола и потряс мою руку. Вероятно, находясь во внеурочное рабочее время не на пленуме, а в редакции, он включил рефлекс обращения с равными себе. Усадив меня в кресло у маленького стола для чая, он сел в такое же напротив и посмотрел на меня в очевидном раздумье – возможно, за то время, что я шел до его кабинета, важное дело, по которому был вызван фотарь-внештатник, забылось. Однако через полминуты недоуменное выражение на лице товарища Кашинского сменилось озабоченным.

– Как дела с коллективными портретами бригад комтруда? – спросил он строго. – К ноябрьским мы должны иметь всех, в комплекте, у нас номер будет специальный, тебе довели или нет? Дорого яичко, пока гром не грянет...

Выдав этот очередной перл комбинированной народной мудрости, он умолк. Я был совершенно изумлен: чего это вдруг главный контролирует ход третьестепенной важности съемок, которые понадобятся через полтора месяца, да еще вызывает по такому поводу не ответсека или, в крайнем случае, заведомо, а ничтожного внештатника? Но не успел я

ответить в том стихотворном духе, что, мол, работа адова будет сделана и делается уже, как ситуация совершенно изменилась. Володя нахмурился, выпятил нижнюю губу не то по-детски, не то высокомерно, что всегда означало гнев и «стирание в бараний порошок».

– Вы там попривыкали, – он перешел в обращении на обобщающее «вы», и в моей голове мелькнула утешительная мысль, что, возможно, беседа со мной профилактическая, а реальные претензии к кому-то другому, – попривыкали искусством, видишь ли, заниматься, херней всякой в своих башнях из слоновых костей, а газета, значит, побоку. Тогда сдай удостоверение, блядь, и занимайся хоть абстракцией!

Я даже не успел порадоваться «башне из слоновых костей», я просто оцепенел. Последнюю фразу Володя проорал, да еще матом, что бывало крайне редко и в самых ужасных случаях. Однажды он публично обматерил Колю из отдела студенческой молодежи, так было за что – тот в заметке перепутал горный институт с медицинским и долго ругал горняков за упущения в шефской работе, которые на самом деле числились за медиками. Ну не из того блокнота фактуру взял... Теперь со мной все было понятно: из исполкома уже позвонили, сейчас я действительно сдам удостоверение и пойду на все четыре стороны. Я не стал делать вид, будто не понимаю, о чем речь.

– У меня выкрали негативы, – начал я с несколько истерической решительностью, – а я, Владимир Иванович, просто готовил серию и пока не собирался ничего и никуда посылать. Это творческий поиск... А кто-то выкрал... Просто подлость, вот что...

К концу тирады я сильно сбавил тон и уже не договаривал фраз. Но и Володя остыл, лицо его приняло обычное, несколько тоскливое, но доброжелательное выражение.

– Это меня не касается, – сказал он, встал, поймал мою руку и снова потряс. – Там разберетесь... А когда руководитель областного масштаба обращается с просьбой, это не просьба, а поручение, понял? Иди, работай, делу время, а по-тихому час...

В коридоре мне встретился Манцевич, он шел со стороны нашего фотографического тупика, как называли в редакции выгородку для фотографов. Молча кивнув, он скрылся в комнате секретариата.

На столе рядом с моим кофром валялись так, как я их оставил, все мои сокровища – камера, объективы, экспонометр, вспышка и батарейки... Я открыл кофр, чтобы снова уложить все по ячейкам, и сразу увидел на дне кучку серых пластмассовых баночек.

Мне не потребовалось смотреть на свет негативы, чтобы понять, что это моя проклятая серия. Все пятнадцать пленок были на месте.

Мы опять просидели у Тани до глубокой ночи. Все, даже почти не пившая Галка, были уже хороши. Бесконечно, со все новыми мелкими подробностями, я рассказывал о визите к облысполкомовской царице Тамаре, о разговоре в кабинете главного, о загадочном исчезновении и чудесном возвращении пленок... Впрочем, с этими чудесами я уже вполне разобрался: вспомнил, что оставлял кофр, когда под конец редакционной пьянки бегал за водкой, вспомнил, что, вернувшись, застал Манцевича одного в комнате, в углу которой стоял кофр, вспомнил, наконец, что встретил его в коридоре, явно идущим из нашего фотографического закутка, где ему совершенно нечего было делать, и после этого негативы вернулись в кофр... Да и вообще все сложилось. В том, что Витя Манцевич играет во всей этой интриге важную роль исполнителя начальнической воли, сомнений не осталось. Смердный дух редакции... Что он мужик скользкий, мне было и раньше понятно, теперь удивляло только то, что такой мелкой шестерке большое областное начальство поручает очевидно важные для него, для начальства, подлости.

А вот почему все это вообще заинтересовало начальство, никто из нас понять не мог. На аморалки в нашем теплом и уютном городе – вообще, как уже было сказано, отличавшемся довольно мягким отношением к незначительным и даже очевидным нарушениям морального кодекса строителя коммунизма – смотрели, как правило, добродушно. Началь-

ники спокойно спали с секретаршами, на всякого рода областных совещаниях и активах шло не только общее, совершенно не пресекаемое пьянство, но и поголовная разовая любовь всех с кем попало... Особенно веселились, как и положено гормонально буйной молодежи, комсомольцы. В пансионатах, куда собирали среднего и низшего звена активистов для доведения идеологических установок, бушевали афинские ночи. Зато с идеологией был полный порядок, за идеологические промахи спрашивали строго... Какого же черта они прицепились к Юрке и Галке?! Значит, тут что-то другое, а не борьба за нравственный облик...

Юрка в разговоре участия почти не принимал, знаменитого Таниного приготовления маринованного мяса почти не ел – курил, пил коньяк мелкими глотками, смотрел в окно, за которым лупил первый сильный, уже совсем осенний дождь. Галка все время тихо плакала, повторяла с детской обидой «ничего не знают, а лезут», анализ ситуации был ей явно не по силам. Таня зло материлась – она вообще в дружеском разговоре слов не выбирала – в адрес не одного только Манцевича, а всего нашего трижды проклятого города, в котором «дышать нечем». В этих ее проклятиях я слышал отзвуки наших ночных разговоров, шепота «давай уедем отсюда куда угодно, тебе же хорошо со мной, но здесь ничего не получится, мы здесь утонем в этом говне...». Я отмалчивался, гладил ее мокрое от слез лицо – мне тогда уезжать совсем не хотелось, а жизнь с нею вдвоем где-нибудь в чужом месте я и представить себе не мог. Здесь был мой город, мои – какие есть, такие и есть – друзья, мои старики...

Теперь я часто – и чем дальше, тем чаще – вспоминаю Таню, эти ее ночные попытки пробиться к моей робкой сонной душе. С трудом, но вспоминаю ее немного раскосые, черные, будто без зрачков, глаза, плоские тяжелые иссиня-черные волосы – дед ее, молодой романтический врач, был командирован на эпидемию и взял в жены бурятку.

Да, другая могла получиться жизнь, а теперь уж какая есть, такая и будет до конца.

...Ни до чего толком не договорившись, зато уговорив три бутылки коньяку, мы обнаружили, что уже третий час. Дождь не переставал, ловить машину в такую погоду было безумием, и мы с Таней убедили Юрку и Галку остаться – им были предоставлены тахта в комнате и свежие простыни, а мы втиснули на кухню, на пол между плитой и столиком, надувной матрац, покрытый толстым одеялом. Юрка отказывался вяло, он выпил больше всех и выглядел жутко уставшим, над переносицей пролегла по лбу глубокая вертикальная складка, локоны свалились, как шерсть больной собаки... А Галка просто заснула сидя, так что возражать вообще не могла.

И Таня заснула сразу, едва улеглась рядом со мной на узковатом матраце. Повернувшись спиной, пробормотала «спокойной ночи, я тебя люблю», осторожно потянула на себя плед, которым мы были укрыты вдвоем, и через минуту стала дышать с еле слышным присвистыванием, как всегда дышала во сне – курила много.

Я же никак не мог уснуть. Мне было холодно и неудобно, отвлечься от того, о чем мы говорили несколько часов подряд, не удавалось, ситуация казалась, как и положено ночью, все ужасней и безвыходней... Я промучился уже около часа, когда услышал довольно громкий Галкин голос. Слова были слышны не все...

– Ну, пожалуйста... я тебя прошу... – голос прервался громким всхлипыванием, – ну давай так... ты же даже не пробовал... ты... ты подлец, сволочь!.. думаешь, я не понимаю, зачем тебе нужна?!.. все, с меня хватит... пусть... ты... ну, пожалуйста, ну, Юрочка, родненький мой... а-а-а, гад, гад, гад!..

В более неловкое положение я в жизни не попадал. И дело было не в том, что я подслушивал безусловно постельную, абсолютно интимную сцену – в конце концов, я не виноват, что не сплю, а они должны были думать, прежде чем затевать в чужой однокомнатной квартире возню и выяснение отношений. Но самое неприятное заключалось в том, что сцена была какая-то чрезвычайно странная. Чтоб Галка ругала Юру последними словами!

Это совершенно немыслимо ни в какой ситуации, в постели так же, как в примерочной дома моделей, он оставался для нее Юрием Петровичем, в крайнем случае Юрочкой...

Я принял единственно возможное решение: встану и, громко кашляя, пойду в ванную – они должны будут уняться, я не хочу больше знать никаких тайн!

Едва я, кряхтя, поднялся с матраца, наступила тишина. Порывшись в карманах брошенной на табуретку одежды, я нашел сигареты и спички, перешагнув через Таню – она и при этом не проснулась – и, сделав два шага, оказался в коридорчике, как раз между дверями в ванную и в комнату.

Дверь в комнату была открыта настежь. Прямо в окно светила луна – дождь кончился. В дымном лунном свете я на мгновение увидел сидевшую на полу возле тахты Галку, ее кожа отливала голубым. Юрка лежал на тахте ничком, повернув лицо к стене, и я успел заметить, что он был в трусах – в пижонских белых трусах-плавках... Наверняка египетские, еще в Москве покупал – только эта глупость крутилась в моей голове, пока я курил, сидя на унитазах, потом тушил окурок струйкой воды из крана, потом с грохотом спускал воду, чтобы предупредить любовников, что я выхожу.

Нечаянно услышанное было настолько необъяснимо, что мозги мои забастовали, отказались думать.

Когда я возвращался на кухню, дверь в комнату уже была закрыта.

Вот, собственно, и все.

После той ночи время пошло быстро, два месяца осени будто свернулись, съежились в один темный, дождливый, тоскливый день.

И загадки были отгаданы, и ускользающая интрига со всеми ее тайнами превратилась в обычную паскудную склоку, из тех, какие бывают на коммунальной кухне, с истошным визгом и замахииванием сковородками.

Та стильная красавица, что встретила меня в исполкоме, оказалась женой начальника штаба военного округа. Муж ее был недавно переведен из Москвы с большим повышением, светила ему должность командующего округом. А дамочка, как выяснилось, была по образованию и профессии коллегой Юрки, и в Москве еще началось их соперничество, а уж здесь, в провинции, она решительно пошла в атаку, место художественного руководителя дома моделей должно было принадлежать ей по праву номенклатурной жены. Юркино существование определенно мешало установить правильный порядок вещей, а устранить Истомина было непросто – московский назначенец...

На Юрку я некоторое время обижался. Получалось, что и меня, нас с Таней, он считал обычным местным быдлом, скрывал от нас так же, как и от прочих, суть. И ведь мог доскрываться – вот что особенно меня злило! А не будь я таким целомудренным идиотом да постучись в тот дождливый вечер в окно его кабинета – и он наверняка решил бы, что это от меня пошла сплетня. Какое же счастье, что дурацкая и довольно, как я теперь понимаю, банальная идея серии с голыми манекенщицами отвлекла меня от действительно прекрасной натуры, от человека в сталинском костюме, с лицом статуи...

Потом я перестал обижаться. Мне хватило воображения представить себе тот ужас, в котором они жили, Юра и его избранник, тот страх, который ломал их, ту непреодолимую тягу, которая была их счастьем и обрекала их на чудовищный риск. Однажды я сказал Тане: представь себе, за то, что мы спим вместе, нам полагается тюрьма, ты готова? Она заплакала, отвернулась, обхватив голову руками...

Существование сделалось простым и прозрачным. Я ездил по заводам и снимал передовиков, Таня через сутки дежурила в больнице, Юрка целыми днями сидел в своем кабинете, пил коньяк, а одежду к весеннему показу закройщицы, казалось, шили вообще без его участия. С Галкой они виделись только в доме моделей и уже нигде и никогда не появлялись вместе – спектакль кончился.

Манцевич ко мне почти не обращался, здоровался кивком, только однажды я заметил, что во время планерки он рассматривает меня. Встретив мой прямой ответный взгляд, пожал плечами и отвернулся...

Кое-как, словно это была очередная халтура, я доснял свою серию и заказной бандеролью с центрального почтамта отослал в чешскую «Фотографию». Что отправление дойдет по адресу, я не верил.

Мы все капитулировали. Тогда казалось, что пожизненно.

Однажды со своего четвертого, вечерочного этажа «Дома печати» спустился Наумыч, зашел в наш фотографический тупик, где в это время я в одиночестве просматривал негативы очередного фотоочерка о маяках соцсоревнования. Старик присел на стол, презрительно отпихнув пленки, поглядел мне в глаза с неподдельным сочувствием, вздохнул...

– Жалко мне вас, молодых, – характерным жестом, будто собирая лицо в горсть, он провел ладонью от лба к подбородку, – долго еще вам мучиться...

И ушел, не простившись.

В начале декабря, сразу после Дня Конституции, мы провожали Юрку в Москву – он уволился и уезжал в неизвестность. «Не знаю, какой я художник, хороший или так себе, но теперь уж точно свободный», – сказал мне по телефону, приглашая прийти на вокзал. Застольных проводов не было...

Мы стояли под ветром, несущим мокрый липкий снег, молчали. На первом перроне, с которого всегда уходил московский фирменный, народу было, как обычно, полно, встречалось много знакомых, словно на проспекте – все, кто в городе представлял собою что-нибудь, часто ездили этим поездом... Мизансцена была какая-то натужная, с Юркой в центре и с нами, выстроившимися полукругом. Галка не пришла – на мой тихий вопрос Юрка так же тихо ответил: «К себе уехала, в деревню, видеть меня больше не может...» – и в нашем полукружии ее место как бы пустовало, казалось даже, что между мною и главрежем драмы, для которой Юрка делал костюмы нескольких спектаклей, оставался свободный промежуток. А главреж, смазливый мужик без возраста, суетился, доставал из всех карманов коньяк, разливал по предусмотрительно принесенным бумажным стаканчикам, руководил – «ну, на дорогу, чтобы не забывал!» – словом, делал праздник...

Проводники поторапливали отъезжающих, шумно гуляла компания военных летчиков у соседнего вагона.

Сторож в длинном и широком, как бы квадратном темном пальто и фуражке с матерчатым козырьком стоял в стороне. Из-под пальто влажно блестели сапоги.

Юрка прошел сквозь наш полукруг, разорвав его, как бумажную стену.

Они обнялись и застыли в этом невыносимом для посторонних глаз объятии. Фонарь мотнуло ветром, осветились белое лицо статуи, глубокие складки от носа к углам рта, черные, без блеска глаза.

– Представляешь, если бы тогда нашлись доказательства, – прошептал мне на ухо главреж, – ну если бы ты их сфотографировал, допустим, ведь им по пять лет светило... И все из-за этой суки, место ей понадобилось!

Он заглянул мне в глаза, и я подумал, что он и сейчас не отказался бы получить от меня информацию – из первых рук, так, на всякий случай...

– Ну тебя на хер, Гоша, – сказал я довольно громко, некоторые в нашей компании, уверен, это расслышали, Таня сжала мою руку. – Ну вас всех на хер, хватит меня пугать, все уже кончилось, я вам не пригодился...

Да, точно, звали его Гоша, Игорь, фамилию не помню, хоть убей, Михайленко, что ли...

А суку звали Марина Николаевна Петрова, это точно. Она потом высоко всплыла в столице, где хватило места и ей, и Юрке. Ее я запомнил. Помнил и следил за тем, как она

сначала всплывает, а потом тихо, без пузырей тонет... Даже и кругов не осталось, туда ей и дорога. Но до чего ж красивая была тетка...

Обнимаясь со мной, Юрка смотрел в сторону.

На привокзальной площади Таня села в пустой сияющий трамвай, уехала на дежурство, а я в начале проспекта догнал сторожа.

Он обернулся на звук моих шагов.

– Давно собирался спросить, – сказал я, – что означает ваш костюм? Вы поклонник Сталина?

– Я сын расстрелянных, – сразу, будто ожидая вопроса, ответил он. – Мать и отца в одну ночь. Это костюм смерти.

– Простите... До свидания, – я не нашелся, что еще сказать.

– Прощайте, – он не подал мне руки. – Я уезжаю из этого проклятого города, вряд ли еще увидимся. Хочу сделать вам комплимент – вы прилично вышли из своего положения. Не стыдитесь страха, страшно всем...

Он пошел вверх по проспекту, отчетливый в мерцающей тьме, как ночной кошмар. Мокрый снег валил все гуще...

Я уже почти не снимаю.

В прошлом году вся Москва собралась на мою юбилейную выставку. Среди гостей вернисажа ходил важный старик в ярком, почти клоунском костюме, с обрюзгшим безволосым лицом, с крашеными розоватыми кудряшками вокруг плечи. Мы с ним никогда не видимся в обычное время, но тут кинулись друг к другу, вцепились, долго стояли так, пока мне не пришло в голову – вечная трусость! – что это выглядит двусмысленно. Впрочем, объятия с Юрочкой Истоминым, маэстро русского высокого шитья, давно не компрометируют.

Прости его Господь!

Да и всех нас – если можно нас простить.

Я знаю, что Галка умерла в Германии лет пять назад – рак. Но ее модельное агентство сохранило название Gala stars.

Таня, кажется, еще жива и все так же работает в больнице.

Перевозчиков – вот кого почему-то часто вспоминаю – никогда не приезжает из Петербурга, говорят, после инсульта еле ходит.

Прочие исчезли уже давно, и следы их смыло дождями с проспекта, по которому все так же скользят под фонарями дрожащие тени каштанов.

Несколько раз я пытался рассказать эту историю моей жене, но ей такие воспоминания неинтересны и даже неприятны – она любит семейные саги.

А в том особняке, говорят, теперь дорогой ресторан. Так и называется – «Дом моделей». Для ресторана, по-моему, совершенно бессмысленное название.

Бульварный роман

*У любви, как у пташки... Понял? И все дела.
Из разговора*

В не столь уж далекие времена молодости странное чувство посещало иногда автора. Возьмешь эдак библиотечный день, быстро проделаешь в гэпээнтэбэ необходимую выборку библиографии по плановой теме, заключишь это кружкой пива в расположившемся неподалеку от средоточия научных и технических знаний заведении, да и отправишься бродить по огромному городу, в котором мы с вами живем... И вдруг, в толпе, среди жаждущих приобретений и отдыха земляков и приезжих, ощутишь: один, совершенно один! Все вокруг полны недоступными твоему пониманию заботами, тайной и непостижимой твоему разуму жизнью, а ты – пария или избранник? – бредешь чужой, ни на кого не похожий, отдельный. Была такая иллюзия исключительности, свойственная юному существу.

Минуло все это. Вот исторгает тебя автобус после рабочего дня вместе с десятками и сотнями твоих соседей по жилому микрорайону, и ты идешь по дорожкам и тропинкам, ведущим в глубь квартала, точно такой же, как остальные.

Это просто входишь, следовательно, в возраст зрелости, когда опыт радостей и разочарований уже твердо укрепляет тебя на положенном месте, и замечаешь: ан, а место-то неотлично от любого иного. Столько же и счастья на него отпущено, и горестей. И что может быть прекраснее!.. Начало – в отличии себя от других; продолжение же – в совмещении, ибо ты единственный, как и все.

1

Спустя примерно полтора года после того, как произошли основные события следующего далее сюжета, которые, собственно, и событиями назвать нельзя, а так – ощущения, тени, шепот, робкое дыхание, лирический горьковатый соус на жилистом отварном мясе трудовых и нетрудовых будней, – итак, спустя примерно полтора года после того, как автор наткнулся на своего героя, пересекая огромный двор, который, собственно, и двором назвать нельзя, потому что ни заборов, ни подворотен, ни врытого в землю стола под жестяным абажуром лампы на косо провисающем проводе, ни грядок бабы Муси, ни деревянных ларей помойки, ни дворника Рустэма здесь не было, а были только длинные корабли и башни жилищ с затеками по межблоковым швам, да хоккейная коробочка, старательно расписанная как бы рекламой по высоким телевизионным образцам, да железные ржавые гаражи – словом, спустя примерно полтора года после того, как герой наш, называемый, в соответствии с традициями, заложенными еще в советском детском саду, в основном по фамилии, Игнатьевым, которого, естественно, и героем-то назвать нельзя никак, поскольку ни в общественно-политическом смысле, ни в литературно-художественном он никакими качествами героя не обладает, не воплощает лучшие и типические черты, не поражает глубиной психологической разработки характера, не совершает, наконец, даже никаких, собственно, поступков, а если и совершает какие-то, более значительные, чем прикуривание, то как бы за рамой этого, предлагаемого в данный момент читателю литературного полотна, короче, спустя примерно полтора года после того, как началась в жизни Игнатьева одна большая перемена, мы бестактно ворвемся в однокомнатную кооперативную квартиру среди бела дня и застанем в ней акт любви.

Вообще-то потому и фраза получилась такой невообразимой длины, что как-то не решался на это автор, как-то вроде неловко было.

...Он старался раздеться быстро и при этом не оскорбить ее эстетическое, как он предполагал, чувство видом своего мужского туалета, и поэтому сдергивал все попарно – сначала клетчатую рубашку вместе с голубой майкой, потом отечественные брюки с аналогичными трусами темного цвета, а уж после, переступая новыми носками по болгарскому паласу, подошел к тахте, которую он называл мысленно софой, а по сути-то она была диваном-кроватью, и остановился вплотную к ложу, упершись в его край голенью и стараясь не глядеть вниз. Он очень хотел посмотреть вниз, ему было чрезвычайно интересно увидеть многое внизу, хотя в свои тридцать девять с лишним лет он несколько раз видел это и при более ярком свете, чем тот золотой пыльный дымок, что проникал в комнату сквозь шторы, но он предполагал, что здесь можно увидеть что-то совсем другое в смысле эстетики и культуры, а взглянуть не мог. Он не знал, понравится ли, что вот так станет разглядывать, и не покажется ли совсем недостойным такой явный интерес, как будто не видел никогда.

Она лежала навзничь прямо на сброшенном халатике и не закрывала глаза, хотя понимала, что это неловко, поскольку может вызвать совсем уж нежелательное смущение, и без того наполнившее всю комнату и особенно густо стоявшее над тахтой. В поле ее зрения прежде всего были большие красные кисти с толстыми выпуклыми ногтями, а от них вверх шли красно загорелые руки с мощными жилами, торс же был абсолютно бел, даже голубоват и безволос, что ее удивило, потому что весь ее опыт подсказывал, что такой сильный физически мужчина среднего возраста обязательно должен быть волосат, но, видимо, это правило распространялось только на творческую и высший слой технической интеллигенции. Она видела хорошо выбритый подбородок, от которого вверх, огибая рот, к носу уходили глубокие складки, а над всем был виден край седовато-русого чуба, но это уже видно было смутно, так как она была близорука, а очки сняла и положила на пол в головах. Она, вероятно, могла бы увидеть и еще какие-нибудь детали атлетического сложения, но красные огромные кисти были сложены, скрещены, и взгляд натывался на них и застывал, притянутый этими непропорциональными орудиями малоквалифицированного физического труда, этими выпуклыми роговыми ногтями и жилами.

Он осторожно лег, стараясь перевалить через тонкое и, видимо, легко ранимое, но круглое колено, не задев его, и на секунду застыл, упершись локтями в тахту, которую он по-прежнему мысленно называл софой, зависнув в воздухе и не зная, куда девать оставшиеся в определенной степени свободными руки. Он приложил рот к ее рту, но из поцелуя ничего не вышло, потому что она, как ему показалось, как-то оскалилась, и он отодвинулся, решив, что ей неприятен слишком сильный запах табака, а может, и еще чего, что он когда-либо ел или просто брал в рот. Он почувствовал ее руки и испугался, что, наверное, тем самым она дает понять нехватку его страсти, умения и напора, но тут она наконец закрыла глаза, и все получилось само собой, и через пару минут он уже не думал ни о чем, забыв даже о мучившем его душевном разладе – снимать или не снимать носки. Он открывал глаза и видел близко-близко, как траву, в которой валялся когда-то пацаном, розово-бежевую сморщенную кожу, сходящуюся к возвышению, имевшему форму пули и примерно такие же размеры. Он видел маленькое треугольное облако мелкозавитых волос, как бы парившее над кожей. Он видел то приближающееся вплотную, то отодвигающееся незагорелое, гладкое, тяжелое, круглое, туго обтянутое, от которого шел ровный несильный жар, как от пляжного светлого песка. Он видел ее над собой, уходящую ввысь, словно памятник, установленный на нем в ознаменование победы советского человека в многолетней и изнурительной борьбе естества против морального кодекса. Он видел ее сверху, словно родную землю из космоса, и она казалась ему, как и героям-космонавтам, маленькой и беззащитной. Он видел ее сбоку, и она заслоняла от него весь мир и большую часть комнаты, и он казался себе в полной безопасности за ее спиной, и сам прикрывал ее от всех опасностей. Он видел ее сильно растрепавшиеся

волосы, ее короткую стрижку, и ему хотелось, согнувшись, прикрыть ее всю собой, прижав покрепче голову, но он боялся, что тогда она не сможет дышать.

Она видела только его лицо, обтянувшиеся больше обычного скулы, углубившиеся складки, приоткрывающийся в мучительной гримасе рот, прилипший ко лбу потный чуб, раздувающиеся, так что нос выглядел хорошо оперенной стрелой, ноздри, а больше не видела ничего. Она снова закрывала глаза и только чувствовала его безволосую грудь, и жилы на руках, и лезущие сбоку в рот жесткие и спиральные пружинки волос, и носки, оскорбляющие ее ноги чужеродностью при нечаянных прикосновениях. Она не удивилась, что теперь он не кажется ей таким большим, как до этого, она вовсе не связывала физическую мощь с какими-то ожиданиями.

Он открыл однажды глаза и увидел, что на тахте лежит, кроме них двоих, ее собака – грустное живое существо с длинными ушами и смущенным, естественно, выражением глаз.

Она заметила, что он заметил собаку.

– Группенсекс, – улыбнулась она.

Он вспомнил детские уроки и телевизионный фильм о группенфюрерах.

– Гут, – сказал он, слегка задышав, и тоже улыбнулся.

Она отметила, что это вполне остроумно, но тут им уже стало не до продолжения шуток, потому что золотой дымок света, все это время проникавший сквозь штору, стал огненно-горячим.

И этот огонь расплавил их и сначала излился сквозь нее, а потом сквозь него.

И она закричала, и он ответил ей.

Он-она, он-она, он-она, он-она... Она! Она!! Она!!! Она, она, она, она... Он!!! Он!! Он! Он...

Он перевернулся на спину и ненадолго заснул, забыв о скандалах, которые продолжает устраивать Томка в местном, о дочке, без которой теперь надо будет привыкать, о насмешках товарищей по труду, о несимпатичных соседях и даже о самой этой удивительной любви, от которой остался только крепкий сон, как у мальчишки после длинного дня летних каникул.

Она из ванной пошла на кухню, поставила на плиту кофеварку, подошла к окну – прямо так, не одеваясь, увидела пустой дневной город, вспомнила, что в этой пустоте где-то находится сейчас человек, которому она еще недавно желала за обиду смерти, – и улыбнулась, поняв, что теперь он вправду умер, и пожелала ему долгих лет жизни, больших успехов в творческом труде и крепкого личного счастья.

Теперь ей было не жалко. В комнате спал Игнатъев, и собака дремала, привалившись к его так и не снятым носкам, а собаки отличают добрых людей гораздо безошибочней, чем женщины.

2

Пока ни о чем таком, конечно, не думал Игнатъев, возвращаясь с работы. Просто он поправил, вылезши из автобуса, свою букле-кепочку давнего футбольного фасона, да и пошел себе – среди соседей, влекущих детей из детского сада; спешащих к друзьям у боковых дверей районного супермаркета; сгибающихся под тяжестью доставленных из центра припасов. Среди своих соседей, словом.

О работе он тоже не думал. Он любил труд, к которому шел сложным жизненным путем, – подрезку веток и стрижку травы и кустов на бульваре по полномочиям треста озеленения – однако не столь уж была эта служба сложна для осмысления, чтобы о ней еще и сейчас думать.

Не думал Игнатъев и о доме, поскольку дома у него на данный момент было все в порядке, начиная от жены Тамары, служащей по пищевой части в близлежащем детском

учреждении типа сад-ясли, и кончая дочерью Мариной, успешно завершающей обучение в седьмом классе общеобразовательной школы – без троек.

Трудно, очень трудно проникнуть в чужие мысли. Особенно если мысли эти не совсем вняты. Примерно такие (пользуемся данным автору правом копаться в мыслях героя): «Да, жизнь... спешат все... неправильно... ты сначала пойми, а потом спеши... а то рубанул ветку, а она и привет... засохнет, говорю... опять же и утром в лифте... чего смотришь, когда муж есть?.. Нехорошо... Людмилой зовут... эх, Виталик, Виталик!.. Вот тебе и сони-грюндиг... все одинаковые...»

И так далее. Ничего нельзя понять. Во всяком случае, пока.

Поэтому мы и пропустим Игнатьева вперед, дождемся, пока проведет он обычное время вблизи универсама, а затем и в пивном баре «Стратосфера», пока достанет из почтового ящика вечернюю газету с кроссвордом, до которых его супруга большая охотница, хотя и без особых склонностей; пока поднимется в лифте на свой десятый этаж и выйдет к ужину. Мы же подождем другого, а именно Пирогова. Вот уже выходит он у того же подъезда из своего скромнейшего автомобиля одной из распространенных в мире марок, по привычке поправляет удивительной скромности галстук в неприметную косую полоску, вынимает из ящика свежую периодику, включая весьма информативный еженедельник... А вот уж и едет он в лифте на свой девятый, входит, сбрасывает неприменный синий пиджак, приветствует семью, садится за стол...

С его мыслями еще сложнее. Они хоть и глаже, да на иностранных, не слишком знакомых языках. Но попробуем все же: «Эврибади, как говорится... до единого... споткнись онли... аллигейторы... пер фаворе бриться... сожрут... эх, если бы получилось... тогда на втором бедрум, чайлда тогда еще одного можно бы... как же, получишь тут хоум энд хауз... жди... грюсс унд кюсс...»

Полная абракадабра. Ни словечка вроде бы о службе в весьма почтенном и представительном учреждении, о супруге Людмиле – институтской любви с Метростроевской, со временем специализировавшейся по надомным переводам, о дочери Кате, с блеском получающей образование в испанской спец и в плавательной спортивной. Будто и не заботит его все это. Впрочем, может, и действительно не заботит, коль все идет наилучшим образом?

Итак, они сидят и ужинают – один над другим. Мы же бросим на время изящно-туманный стиль изложения, принятый здесь – слово чести! – не из желания блеснуть, а по искреннему пристрастию души, и перейдем к строгому языку справки.

Игнатьев Борис Семенович, тридцати восьми лет, рабочий треста озеленения, проживает на улице 5-я Средняя, две комнаты отдельные, все удобства, телефон, десятый этаж.

Пирогов Виталий Николаевич, тридцати восьми лет, заведующий сектором, был в служебных командировках, немецкий, английский свободно, проживает в том же доме, этажом ниже в точно такой же квартире.

Потолок Пирогова для Игнатьева пол.

Игнатьев сам еще не совсем понимает это, но, бесспорно, испытывает зарождающееся чувство любви к жене Пирогова Людмиле. Она, кажется, отвечает взаимностью. Игнатьев считает это позором и старается не задумываться.

Пирогов отлично понимает все, в том числе и то, что если бы эти Игнатьевы каким-либо образом съехали куда-нибудь к дьяволу, например, согласились бы на какой-нибудь вариант обмена, то очень мало препятствий осталось бы для создания семье Пироговых двухэтажного жилья по лучшим образцам журнала хорошей жизни «Хоум энд хауз, инк.». Пирогов считает, что это было бы справедливо, и все время об этом думает.

Желания соседей пока не высказаны, хотя Игнатьев однажды ночью вздохнул тихонько, глядя в потолок: «Люся...» – к счастью, жена его не проснулась. Она вообще спала хорошо. Что касается Пирогова, то он на волнующую его тему улучшения жилищных усло-

вий уже неоднократно беседовал с женой и находил в ней полную поддержку. Однако разговор с преданной женой – вещь интимная, все равно что с самим собой.

Так как соседи друг к другу никакого отношения еще не проявляют, у автора есть время до того, как развернется действие, придумать кое-какие эпизоды для биографии главного героя. Иначе не избежать упреков в отсутствии психологической глубины и стереоскопичности характера – без последнего загадочного свойства некоторые специалисты отечественной изящной словесности особенно страдают.

3

Всю свою сознательную жизнь Игнатъев прожил в городе. Это только так говорится, что сознательную, а на самом деле – всю жизнь, от самого рождения. Родился он в центре, в том лечебном учреждении, где родились едва ли не все его земляки, и сам факт появления на свет в этом роддоме уже многое говорит о происхождении человека. Если уж вы родились в этом доме, называемом запросто по фамилии, то, значит, и родители ваши были потомственными жителями большого города, и сами вы провели детство в одном из тех дворов, что окружены были желтыми двухэтажными особнячками и деревянными домишками... Стонали там по ночам ничейные коты, в ранних сумерках сверстники ваши играли в штандар, и мяч, улетающий прямо в небо, то и дело застревал на ветках тесно растущих и давно одичавших яблонь.

Это уж потом домишки снесли, особнячки отреставрировали, дворы огородили красивыми металлическими заборчиками... И под окончательно одичавшими яблонями укоренились голубоватые ели, а в глубине пространства, где прежде стоял трофейный «опель» соседа, появились соотечественницы этой машины, но современных моделей. Сами же вы из огромной комнаты в коммунальной квартире, в которой на антресолях жила еще одна семья, переехали в отдаленный микрорайон, в двухкомнатную с удобствами.

А теперь и микрорайон этот не кажется таким уж отдаленным.

В общем, Игнатъев был коренным горожанином, привык к ровному гулу улицы, доносящемуся из-за окон, к утренним запахам мокрого асфальта, нагретых за предыдущий день стен и идущих на работу людей, к прохладному ветру, прилетающему впереди поезда из тоннеля метро, и ко всему, к чему привыкает столичный житель за свои тридцать восемь лет, из которых только два года провел не в этой обстановке – то время, что служил в армии, да и в армии-то служил не за тридевять земель, а в другом огромном городе. Служил в строительных частях и выучился там на бульдозериста, строил склады на окраине.

А потом как-то само получилось, что обнаружил себя Игнатъев после армии стоящим в оранжевом жилете, надетом на голое тело, и наблюдающим, как каток ровняет только что уложенный им, Игнатьевым, горячий асфальт. Так уж вышло...

Сначала поступал он в Институт стали и сплавов, но не поступил. Тогда все поступали, и уже многие не поступили, из-за чего родители расстраивались, а сами поступавшие очень удивлялись, потому что до этого все, кто поступал, те и поступали, а как раз во времена Игнатьева многие не поступили. И даже в журналах появились тогда повести и рассказы об этих непоступивших. В литературе они все обычно уезжали в какие-нибудь отдаленные районы страны, чтобы пройти там суровую школу, а в действительной жизни Игнатъев никуда не поехал, как-то в голову не пришло. «Литература и жизнь» – это газета тогда была такая, а больше между ними общего почти ничего и не было. Ну вот, Игнатъев поклонялся по своему двору, постоял в подъездах, поработал в типографии напротив своего дома разнорабочим, да и пошел в армию. А из армии вернулся с профессией бульдозериста и стал с ней жить. Родители постепенно к этому привыкли, жена Игнатьева привыкла с самого начала, потому что она другого и не знала, дочь Игнатьева профессией отца не интересовалась, а он сам со

временем из бульдозеристов стал крановщиком, потом слесарем по разному оборудованию, потом рабочим на металлобазе, потом еще кем-то, а потом стал лопатой разбрасывать горячий асфальт и смотреть, как каток его трамбует.

Тут мы его и застали. День был жаркий, асфальт дымил, каток грохотал, и всем прохожим становилось еще жарче, и далее дыхание у них перехватывало, когда они смотрели на Игнатьева в его оранжевом жилете, из которого торчали загорелые руки, а тело под жилетом проглядывало незагорелое, потому что жилет он снимал редко. Загар его не интересовал.

Ну потом жара пошла на убыль, Игнатьев закончил укладывать асфальт, вымыл руки, переоделся в стоявшем неподалеку вагончике и пошел в семью.

Ночь наступила душная. Игнатьев сидел на балконе, смотрел на засыпающий после передачи «Сегодня в мире» уже хорошо обжитой квартал некогда отдаленного микрорайона и вспоминал. Может, из-за духоты, может, из-за дневной усталости он вспоминал то, о чем обычно не пытался вспомнить. Он, например, вспомнил, что его зовут Борис. А ведь действительно – забыл он свое имя, и неудивительно: в школе его называли по фамилии, в армии тоже, друзья юных лет звали Игнатом, теперешние приятели Чухой, что, на их взгляд, гармонировало с пыхтением асфальтового катка или еще с чем-то в образе Игнатьева, жена называла «отец», а дочь никак не называла.

Еще Игнатьев вспомнил, что всю жизнь он любит растения. Откуда в нем, в потомственном, как мы выяснили, горожанине, взялась эта странная любовь к зеленому, как говорится, другу, неизвестно, но только еще в школе он больше всего интересовался семядолями и хлорофиллом, а что пошел поступать в сталь и сплавы, так просто насчет ботаники, биологии или сельхозакадемии, что ли, не подумал.

Вообще многое в биографии своей он мог объяснить и объяснял только так – не подумал, и все. Вот сейчас, когда он сидит на балконе и думает, именно думает, подойдите к нему и спросите: ну, если ты так зеленую природу любишь, Игнатьев, чего ж ты дома хотя бы герань не разведешь, или там кактусы, или хотя бы полезное растение «доктор» не вырастишь? Знаете, что он скажет? Не думал как-то, скажет, вот что.

И даже не удивится, что вы к нему на балконе десятого этажа подошли. Не подумает... В общем, лег Игнатьев спать.

А утром встал, картошки поел жареной с огурцами и пошел укладывать асфальт. Состояние у него было не особенно бодрое, но жить-то надо.

А там, где он укладывал асфальт, уже шум и суeta. Все его товарищи по работе стоят кружком и смотрят, и бригадир стоит, и каток, хоть и пыхтит, но тоже стоит, потому что водитель стоит. И еще прохожие некоторые останавливаются.

И все они смотрят на то, что случилось там, где Игнатьев асфальт вчера укладывал. А на этом месте вот что произошло: дерево выросло. Липа. Асфальт весь, свежий еще, темный, трещинами пошел и лопнул, а из образовавшегося некрасивого отверстия и выросла эта липа. Сразу метра два с половиной, и цветет. Запах от ее цветения такой сильный, что никакого асфальтового духу и в помине нет. Листья такого хорошего зеленого цвета, как после дождя. На верхних ветках птицы прыгают и поют – синицы, кажется. А вокруг люди стоят и смотрят.

Игнатьев тоже долго стоял и смотрел, а потом вместе со всеми начал дерево рубить, вытаскивать из земли корень и асфальт ремонтировать. Весь день провозились, а вечером умылись, переоделись и пошли, как обычно. Все, конечно, долго обсуждали удивительный случай. Потому что грибы, бывает, за одну ночь ломают асфальт и прорастают. Бывает, еще и трава, – но только когда асфальт уже старый. А чтобы сквозь свежееуложенный, да еще целое дерево, да сразу такое большое и в цвету – этого никто понять не мог, и даже водитель катка, фамилию которого Игнатьев не знал, его все Поней называли, не мог ничего предположить, хотя мужик был самый эрудированный.

И опять ночь была душной. Игнатъев лежал в кровати под простыней и думал. Мысли его были в основном насчет удивительного дерева. Ему было стыдно, что он вместе со всеми его срубал, и корчевал, и потом ремонтировал асфальт. Дереву, небось, было трудно пробиваться через уложенный Игнатъевым асфальт и быстро, за одну ночь, расти и цвести, а Игнатъев пришел – и срубил. Умный нашелся...

Но если вы к нему сейчас, когда он лежит в кровати без сна, тихонько подойдете и спросите: а какого же черта ты, Игнатъев, его срубил, – он вот что ответит: «А не подумал... Чего, чего... Не подумал, вот чего...» И замолчит, не удивившись даже, что вы в запертую квартиру вошли. А если вы спросите у него: а не удивительно тебе, Игнатъев, что к тебе в запертую квартиру по ночам кто попало ходит, – он, знаете, чего скажет? «Не подумал как-то... Ага...» Вот чего.

Утром он поел макарон с колбасой жареной и пошел на работу.

А там опять волнение и недоумение общее. Асфальт, конечно, сломан, трещины по всей дороге разбежались, а из асфальта растет куст таких ягод, которые называются паслен. Игнатъев не знал, как они правильно называются – черненькие такие, мягкие и на вкус ничего, знал только, что одна старушка в их прежнем дворе, в центре еще, такие ягоды из деревни привозила, а потом эти кусты возле мусорного ящика так разрослись – спасу не было.

В общем, нарвали все этих ягод, а потом давай куст ломать, выкапывать и дорогу чинить. И Игнатъев вместе со всеми. А что же ему было делать – работа. Вечером он, понятно, опять думал и вспоминал, да что толку – куст-то уже... Конеч, в общем, кусту-то.

Ну утром – вы уже догадались – там анютины глазки взошли. Синие такие. С лиловым. Как из панбархата – у матери Игнатъева платье такое когда-то было. Пообрывали их, бригадир вместе с водителем катка на Игнатъева чего-то долго смотрели, хотя он тоже нормально, как и остальные, цветы рвал и ругал их за убытки в сдельной работе.

Назавтра сквозь асфальт кипарис пророс. Стоит себе, темный, будто пыльный, высокий. Как ракета темно-зеленая. До самого вечера с ним возни было, а Игнатъева в вагончик мастер зазвал и дал ему там в приказе расписаться. Расписался Игнатъев, что по служебной необходимости трест благоустройства переводит его на наружный ремонт жилых помещений, подлежащих капитальной реконструкции.

И с утра вышел Игнатъев на новую работу. Там дом такой стоял – с колоннами и скульптурами в виде читающих юношей и девушек, а также спортсменов с ракетками и мячами. Не особенно старый – лет на пять всего старше Игнатъева, но уже потребовался ему капитальный ремонт. Игнатъев залез на фасад дома и стал старую штукатурку счищать – была у него и такая профессия. Отработал день, вечером с новыми сослуживцами познакомился, а поздно ночью сидел на кухне у открытого окна, дышал душным воздухом и вспоминал. Вспоминал, как днем, в жаркой дымке, пыль летела от штукатурки и прохожие обходили стороной этот ремонтирующийся дом, потому что дощатый забор от пыли не помогает. Вспоминал еще, как этот дом был раньше хорош, когда Игнатъев был еще мальчишкой и жил неподалеку, в своей коммунальной комнате, а в школу ходил именно мимо этого дома с колоннами и скульптурами и смотрел, как из дома выходили его соученики и как их провожали мамы. Много вспомнил Игнатъев, в том числе и то, чего не вспоминал никогда.

А если бы вы подошли к нему, сели рядом у кухонного окна и спросили, мол, чего ж ты, Игнатъев, только сейчас задумался насчет этого дома и почему в детстве ты мимо него ходил, а внутри никогда не был, а сейчас по всем его выломанным внутренностям лазаешь, но нет тебе в этом радости, – ничего бы он на это вам не ответил. Так, плечами только пожал бы, мол, не знаю, не думал. Будто так и надо, что вы к нему на его кухне ночью подсаживаетесь.

Наутро же по всему фасаду разрослись березки, и не маленькие. Листья светлые, сами белые, а по одной даже белка скачет. Ну прораба, конечно, чуть инфаркт не хватил, однако постепенно оправился. Березки потом осторожно спилили, чтобы кладку не повредить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.